

[Polaris]

Морис Ренар



ДОКТОР ЛЕРН,  
ПОЛУБОГ

# POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

XXVIII



**Salamandra P.V.V.**

**Морис Ренар**

**ДОКТОР ЛЕРН,  
ПОЛУБОГ**

Salamandra P.V.V.

## **Ренар М.**

Доктор Лерн, полубог. Пер. с франц. – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2014. – 244 с. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. XXVIII).

Роман классика французской фантастической и научно-фантастической литературы Мориса Ренара (1875-1939) «Доктор Лерн, полубог» – история обыкновенного буржуа, поневоле вовлеченного в чудовищные эксперименты безумного профессора... и в эротический омут.

В этой книге, посвященной Г. Уэллсу, Ренар – по выражению одного из критиков – «начинает там, где “Остров доктора Моро” заканчивается».



**ДОКТОР ЛЕРН,  
ПОЛУБОГ**

## От издателя

На Западе существует целая литература, составляющая множество томов, написанных на всех европейских языках и посвященных описанию необычных событий и необыкновенных, геройских подвигов.

Авторов этих книг не удовлетворяет уклад и темп нормальной, будничной жизни. Их не привлекает возможность художественного воспроизведения тех человеческих настроений и переживаний, которые составляют обычный материал классической литературы.

Они мечтают о людях, наделенных необыкновенной силой, как физической, так и духовной, или гипнотической. Они дают полную волю своей фантазии и воссоздают события, которые находятся порою в сильнейшем противоречии со всеми законами природы.

Однако же, благодаря неограниченной возможности самых разнообразных сплетений и комбинаций, мы не замечаем этих противоречий. В самом деле, переживания обыкновенного, среднего человека, перенесенного в чрезвычайно странную, необычайную обстановку, сближают нас самих с этой обстановкой.

Она перестает быть нереальной, невозможной и становится чувственно приемлемой.

Точно так же, мы готовы считать вероятным и возможным совершенно сверхчеловечески организованного героя, появившегося и действующего в обычных условиях современной жизни.

Это стремление к воспроизведению и описанию необычайного породило на Западе целую плеяду писателей, авторов так называемых «romans mystérieux».

Некоторые из них безусловно отмечены печатью совершенно особого гения. Гения остроумной выдумки, непреодолимого ужаса, своеобразных сочетаний и фантастического увлечения, гармонически совмещающего в себе все перечисленные черты.

Назовем имена Эдгара По, Конан Дойля, Мориса Ренара, Уэллса.

Разумеется, наряду с настоящими писателями, сумевшими создать из продуктов ничем не сдерживаемой фантазии и невозможных комбинаций произведения, которые завоевали себе шумный успех и, по заслугам, должны занять почетное место в мировой литературе, — расплодилось целая стая подражателей, литературных подделывателей, поставляющих на книжный рынок товар, имеющий спрос у той толпы, которая всегда с жадностью набрасывается на все то, что носит личину моды и удовлетворяет какому-то уже нелитературному уровню низшего порядка, лишь слишком поздно разбираясь в художественном достоинстве прочитанного.

Вспомним, для примера, бешеный успех пошлейшего Пинкертона, пришедшего на смену остроумному, изящному и талантливому Шерлоку.

Библиотека «Синего Журнала» поставила себе целью дать своим читателям в хороших переводах лучшие и неизвестные русской публике образцы литературы из области таинственных и неизведанных миров и необыкновенных событий, ряд романов, фабула которых, помимо своей увлекательности, обладает всеми достоинствами художественных произведений.

Надеемся, что наши читатели с одобрением отнесутся к нашему выбору.



## ГОСПОДИНУ Г. ДЖ. УЭЛЛСУ

Прошу Вас, Милостивый Государь, принять эту книгу.

Радость посвятить ее Вам является далеко не последней в ряду тех, которые я испытал, сочиняя ее.

Я задумал ее в духе идей, которые и Вам дороги. И я от всей души желал бы, чтобы моя книга была близка Вашим по духу, не по своему значению и по своим достоинствам, на что было бы смешно претендовать с моей стороны, но хотя бы по тем славным заслугам, которыми справедливо выделяются все Ваши произведения и которые дают возможность самым чистым, как и самым непримиримым умам наслаждаться знакомством с Вашим гением, несколько не лишая их очаровательного значения и самых изысканных и тонких знатоков нашего времени.

Но когда Судьба, добрая или злая, случайно натолкнула меня в аллегорической форме на этот сюжет, я не счел себя вправе отказаться от него из-за того только, что точное изложение его требовало известной смелости выражений, которые можно было бы обойти, только сократив изложение, что я считал бы преступлением против моей литературной смелости.

Теперь Вы знаете, — Вы сами догадались бы об этом, — как мне хотелось бы, чтобы отнеслись к моему произведению, если кто-нибудь окажет ему непредвиденную честь подумать над ним. Я далек от желания пробудить в читателе примитивные инстинкты и радость при чтении описаний легкомысленных картин: я предназначаю свою книгу философу, влюбленному в Истину под покровом чудесной выдумки и в Высший Порядок мироздания под ложной оболочкой хаоса.

Вот почему, Милостивый Государь, я прошу Вас принять эту книгу.

*М. Р.*

## ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Э то случилось в один из зимних вечеров год тому назад. Дело происходило у меня, на проспекте Виктора Гюго в моем маленьком особняке, который мне сдавали с полной обстановкой, как раз после последнего обеда, на который я пригласил моих друзей.

Так как на перемену квартиры меня толкал только мой бродяжнический характер, то так же весело отпраздновали расставание с этим особняком, как когда-то праздновали новоселье у его очага, а когда вместе с ликерами пришло шаловливое настроение, то каждый из нас старался придумать выходку почуднее; больше всего изощрялись, по обыкновению, весельчак Жильбер, специалист по парадоксам, Марлотт — этот Трибуле нашего кружка, и Кардальяк, изумительный мистификатор.

Я уж не помню, как это вышло, но через час кто-то потушил электричество в курительной комнате, заявив, что необходимо немедленно заняться спиритизмом, и усадил нас в темноте за круглый столик. Заметьте, что этот кто-то был не Кардальяк, но, может быть, это был его сообщник, если, конечно, допустить, что Кардальяк виноват в том, что произошло дальше.

Итак, мы уселись все ввосьмером, восемь не верующих в тайны мужчин, вокруг несчастного маленького столика, единственная ножка которого внизу опиралась на три планки, а круглая доска сгибалась под тяжестью наших шестнадцати рук, соприкасавшихся друг с другом по всем правилам оккультизма.

Эти правила нам сообщил Марлотт. Когда-то он из любопытства изучал всякую чертовщину, в том числе и вертящиеся столики, но не углублялся в бездну знаний; а так как он обычно исполнял в нашей компании роль шута, то, увидев, с каким авторитетным видом он взялся за ведение

сеанса, все охотно подчинились его распоряжениям в ожидании какой-нибудь веселой шутки.

Кардаляк оказался моим соседом с правой стороны. Я услышал, как он подавился от подавленного смеха и закашлялся.

Но стол стал вертеться.

Потом Жильбер начал задавать вопросы и стол, к вящему изумлению Марлотта, ответил сухими потрескиваниями, подобно тому, как трещит всякое сохнувшее дерево; по мнению спиритов, эти стуки соответствуют какой-то экзотической азбуке.

Марлотт неуверенным голосом переводил нам ответы стола.

Тогда все стали задавать вопросы, на которые стол отвечал очень разумно. Присутствующие перестали шутить и сделались серьезными: никто не знал, что подумать. Вопросы участились, участились и ответные стуки стола, как мне показалось, ближе к моей правой стороне.

— Кто будет жить в этом доме через год? — спросил тот, кто затеял сеанс.

— Ну, знаете, если вы начнете спрашивать о будущем, — воскликнул Марлотт, — вы услышите в ответ вранье, или стол замолчит.

— Оставьте, пусть спрашивает, — вступился Кардаляк.

Снова задали тот же вопрос:

— Кто будет жить в этом доме через год?

Раздался стук стола.

— Никто, — перевел Марлотт.

— А через два года?

— Николай Вермон.

Этого имени никто не знал.

— Что он будет делать через год в этот же час?.. Отвечай, что он сейчас делает?.. Отвечайте!..

— Он начинает... писать на мне... свои приключения.

— Можете ли вы прочесть, что он пишет?

— Да... и то, что он напишет дальше, тоже.

— Прочтите нам... хоть начало, только начало.

— Утомлен. Алфавит... слишком долго. Дайте пишущую машинку, буду диктовать переписчику.

В темноте раздался удивленный шепот. Я поднялся, принес свою пишущую машинку и поставил ее на стол.

— Это машина системы Ватсона, — простучал стол. — Не хочу такой. Я француз и хочу писать на французской машине. Дайте мне машину системы Дюрана.

— Дюрана, — сказал мой сосед слева разочарованным тоном.

— Разве такая фирма существует? Я о такой и не слыхал.

— Я тоже.

— И я.

— И я.

Мы были очень расстроены этой неудачей; послышался голос Кардаляка, медленно говоривший:

— Я пользуюсь машинами только фирмы Дюрана. Хотите, я ее привезу?

— А сумеете ли вы писать в темноте?

— Я вернусь через четверть часа, — сказал он, не отвечая на наш вопрос, и вышел.

Во всяком случае, при свете зажженной люстры лица оказались куда серьезнее, чем следовало бы. Даже Марлотт как-то потускнел.

Кардаляк вернулся через очень короткий промежуток времени, — можно даже сказать, удивительно короткий. Он сел за стол против своей пишущей машины, снова потушили свет, и стол неожиданно заявил:

— Не нуждаюсь в остальных. Можете разомкнуть цепь. Пишите.

Послышались удары пальцев по клавишам.

— Это необычайно странно, — закричал переписчик-медиум, — это поразительно, мои пальцы двигает кто-то, — это поразительно! Мои пальцы двигаются помимо моей воли.

— Псст, какая ловкая шутка! — прошептал Марлотт.

— Но клянусь вам... клянусь вам... — возразил Кардаляк.

Мы долго сидели и безмолвно слушали эти похожие на телеграфные постукивания, ежеминутно прерываемые звонком, предупреждающим о близости конца строчки, и треском передвигаемых строк. Каждые пять минут мы получали новую страницу.

Мы решили перейти в гостиную и перечитывать вслух страницы по мере того, как Жильбер, получая их от Кардальяка, будет их нам передавать.

79-ю страницу мы читали уже при свете незаметно подкравшегося дня. На этой странице машина перестала писать.

Но то, что мы прочли, оказалось до такой степени увлекательным, что мы умоляли Кардальяка дать нам возможность познакомиться с продолжением.

Он уступил нашим просьбам. И вот, после того, как он много ночей провел за клавиатурой своей пишущей машинки, сидя перед круглым столиком, мы получили, наконец, возможность прочесть законченное повествование о приключениях вышеназванного Вермона.

Читатель познакомится с ними ниже.

Эти приключения очень своеобразны и местами не совсем приличны. Тот, кто через год должен был их описать, наверное, не предназначал их для печати. Не подлежит никакому сомнению, что он их уничтожит, как только закончит: так что, если бы не любезность круглого столика, никто никогда бы не познакомился с их содержанием. Вот почему, нисколько не сомневаясь в достоверности, я решился опубликовать их, причем нахожу очень пикантным появление в печати произведения, которое еще только будет написано через год.

Потому что я убежден в правдивости автора, хотя его заметки и кажутся сильно шаржированными, и, набросанные карандашом, очень напоминают заметки студента первого курса на полях книги, имя которой «Знание».

А, может быть, эти заметки апокрифичны. Но ведь давно известно, что легенды во много раз соблазнительнее и интереснее истории, и если это выдумка Кардальяка, то она не опровергает этого мнения.

Все же я от всей души желаю, чтобы эти заметки были точным описанием действительных приключений их автора, так как при этом сцеплении обстоятельств (ведь круглый столик описывал то, что случится через год) его переживания еще не начались и только произойдут в то самое время, когда эта книга их оглашает, — а это придает их интересу какой-то странный привкус.

Да, кроме того, ведь узнаю же я через два года, поселился ли на самом деле в маленьком особняке на проспекте Виктора Гюго г. Николай Вермон. Какое-то тайное предчувствие заставляет меня верить, что это наверное случится: ведь трудно допустить, чтобы Кардальяк — очень неглупый и серьезный малый — потерял столько времени для того только, чтобы мистифицировать нас... Это мое главное доказательство в пользу его искренности.

А впрочем, если какой-нибудь недоверчивый читатель захочет меня проверить и рассеять свои сомнения, то пусть отправится в Грей-л'Аббей. Там он сможет разузнать все подробности о докторе Лерне и его привычках. Что касается меня, то у меня для этого не хватает свободного времени. Но я буду очень просить этого исследователя поделиться со мной тем, что он узнает, так как мне самому страшно хочется вывести эту историю на свежую воду и узнать, новая ли мистификация Кардальяка этот рассказ или он, действительно, был продиктован вертящимся столиком\*.

---

\* Мы напечатали текст «Доктора Лерна» дословно, так, как он был продиктован Кардальяку столиком, не изменив ни одного слога. Ведь неудобно было изменять текст совершенно неизвестного автора, которого и печатаешь, к тому же, без его разрешения. Поэтому мы просим читателя не делать нас ответственными как за некоторую напыщенность слога г. Вермона, так и за некоторую, чисто библейскую, смелость описаний. Впрочем, я надеюсь, я убежден, что читатель охотно простит ему все, когда познакомится с тем, какие ужасные испытания придется перенести этому молодому человеку к тому времени, когда он будет писать свои воспоминания (*Примечание переписчика*).

## I.

### НОКТЮРН

**Д**ень первого июньского воскресенья клонился к концу. Тень автомобиля неслась впереди меня, удлиняясь с каждой минутой.

С самого утра все встречные с перепуганными лицами смотрели на меня, как смотрят на сцену во время представления мелодрамы. Одетый в меховой автомобильный костюм, с кожаной фуражкой на голове, в больших выпуклых очках, напоминавших глазные впадины скелета, я, должно быть, вызывал в них представление о каком-то мрачном выходе из ада, о каком-нибудь демоне Святого Антуана, убегающем от солнца и мчащемся навстречу ночи, чтобы поскорей скрыться в ее мраке.

И в самом деле, я ощущал в своей груди что-то вроде сердца отвергнутого, потому что другого ощущения не может быть у одинокого путешественника, который провел семь часов, не слезая, на гоночном автомобиле. Его мозг находится под властью кошмара; вместо обычных мыслей, его преследует какая-нибудь навязчивая идея. У меня не выходила из головы коротенькая фраза, почти приказание: «Приезжай один, предупредив о своем приезде». Эта фраза упорно и настойчиво торчала в моем мозгу и волновала меня все время моего одинокого путешествия, и без того ставшего мучительным из-за быстроты езды и непрерывного гудения мотора.

А между тем, это странное распоряжение: «Приезжай один, предупредив о своем приезде», дважды подчеркнутое моим дядей Лерном в своем письме, сначала не произвело на меня особенного впечатления. Но теперь, когда, подчинившись этому распоряжению, я мчался, совершенно один и предупредив заранее о своем приезде, в замок Фонваль, непонятный приказ преследовал меня, не давая

мне покоя. Мои глаза видели эти слова повсюду, я слышал их во всех раздававшихся вокруг меня шумах, несмотря на все усилия прогнать их. Нужно ли было прочесть название деревушки, мои глаза читали: «Приезжай один», пение птиц звучало в моих ушах, как: «Предупреди». А мотор без устали, доводя меня до остервенения, повторял тысячи и тысячи раз: «О-дин, о-дин, о-дин, при-ез-жай, при-ез-жай, при-ез-жай, пре-ду-пре-ди, пре-ду-пре-ди»... Тогда я начинал мучить себя вопросами, почему мне отдан такой приказ и, не будучи в состоянии найти причины, страстно стремился приехать поскорей, чтобы раскрыть эту тайну, не столько из любопытства получить, вероятно, банальный ответ, сколько, чтобы отделаться от преследовавшей меня навязчивой фразы.

К счастью, я приближался к своей цели, и местность становилась мне все более знакомой. Воспоминания детства овладевали моей душой и с успехом боролись в моем мозгу с мучившей меня мыслью.

Нантель — многолюдный и полный сутолоки город — задержал меня немного, но, как только я выехал из пригорода, я увидел, наконец, вдали покрытые облаками арденнские вершины.

Наступал вечер. Желая добраться до своей цели до наступления ночи, я пустил автомобиль с предельною скоростью; он задрожал, захрипел, и дорога пролетала под ним с головокружительной быстротой, — мне казалось, что дорога наматывается на автомобиль, как нитки на катушку. Ветер свистит и гудит, как буря, туча комаров попадает мне в лицо, как заряд дробы, по стеклам очков барабанит ряд мелких предметов. Солнце у меня теперь справа, почти на самом горизонте. Дорога, то опускаясь, то поднимаясь, принуждает его несколько раз заходить и взойти для меня. Наконец, оно совсем скрылось. Я мчусь в сумерках с такой быстротой, на которую способна моя милая машина — и, полагая, вряд ли другая могла бы ее перегнать. При таком ходе, горы не далее получаса езды. Смутные очертания их проясняются и принимают зеленоватый оттенок, цвет покрывающих их лесов, — мое сердце хочет



выпрыгнуть от радости. Ведь пятнадцать лет, целых пятнадцать лет я не видал моего милого леса, старого, верного друга моего детства.

Замок находится здесь же, в тени леса, на дне громадной котловины. Я ее помню совершенно отчетливо и даже различаю, где она — темнеющее пятно выделяет ее. Надо сознаться, что это довольно странный овраг. Моя покойная тетя Лидивина Лерн, влюбленная в старинные легенды, уверяла, что этот овраг образовался от удара гигантским каблуком Сатаны, разозлившегося на какую-то неудачу. Но многие оспаривают это объяснение. Во всяком случае, легенда недурно характеризует место: представьте себе громадное круглое углубление с совершенно отвесными краями, с одним только выходом — широкой просекой, выходящей в поле. Другими словами — равнина, входящая в гору в виде земляного залива, образует в ней тупик; остроконечные края этого амфитеатра тем выше, чем дальше котловина входит в гору. Так что можно подъехать к самому замку по совершенно ровной дороге, ни разу не встретив ни малейшего подъема, хотя котловина и врежется почти в самую глубь горы. Парк находится в самой глубине котловины, а утесы служат ей стенами, за исключением ущелья, через которое проникают к замку. В этом месте выстроена стена, в которую вделаны ворота. За ней идет длинная, совершенно прямая, липовая аллея. Через несколько минут я выеду на эту аллею... и немного времени спустя, я узнаю, наконец, почему никто не должен сопровождать меня в Фонваль. «Приезжай один, предупредив о своем приезде». К чему эти предосторожности?

Терпение. Массивные горы все ближе. При той быстроте, с какой я мчусь, кажется, точно они все время в движении: вершины гор то исчезают, то снова выплывают, величественно подымаясь, как громадные волны, и зрелище постоянно меняет свой вид, напоминая громадное море.

За поворотом показывается село. Оно мне знакомо с давних пор.

В былые времена на станции в этом селе меня с матушкой каждый год в августе ожидал дядюшкин шарабан,

запряженный лошадкой Бириби. Отсюда нас везли в замок... Привет, привет тебе, Грей-л'Аббей! До Фонваля всего три километра. Я нашел бы дорогу с завязанными глазами. И вот дорога, прямая, как стрела; скоро она углубится в тень деревьев и перейдет в аллею...

Почти ночь. Какой-то крестьянин кричит мне что-то... должно быть, ругательства. Я привык к этому. Моя сирена отвечает ему своим угрожающим и болезненным ревом.

Вот и лес. Ах, какой дивный воздух! Он напоен ароматом былых расставаний. Разве воспоминания могут пахнуть чем-нибудь другим, а не лесом?.. Очаровательно... Как мне хочется продолжить этот праздник обоняния.

Я замедляю ход, и автомобиль потихоньку подвигается вперед. Шум мотора превращается в шепот. Справа и слева начинаются стены широкого въезда, постепенно повышаясь. Если бы было светлее, я мог бы увидеть замок в глубине аллеи. Ого! В чем дело?..

Я чуть не опрокинулся: против моего ожидания, на дороге оказался поворот.

Я поехал еще медленнее.

Немного спустя, опять поворот, потом опять...

Я остановился.

Звезды высыпали и мерцали на потемневшем небе, как светляки. При свете весенней ночи мне удалось разглядеть над собой гребни утесов, направление которых меня удивило. Я хотел вернуться и открыл за собой разветвление дороги, которого не заметил на пути туда.. Поехав направо, я встретил новое разветвление, — точно решал логарифмическую задачу; оттуда я поехал по направлению к замку, ориентируясь по утесам, но попал снова на перекресток. Куда же девалась прямая аллея?.. Это неожиданное приключение поставило меня в тупик.

Я зажег фонари и долго разглядывал при их свете окружавшую меня местность, но не мог разобраться и найти дорогу: столько аллей выходило на эту площадку, да, кроме того, многие из них кончались тупиками. Мне показалось, что я возвращаюсь все к одной и той же березе и что высота стен не меняется. По-видимому, я попал в

настоящий лабиринт и ни на шаг не подвигался вперед. Может быть, крестьянин, окликнувший меня в Грей, пытался меня предупредить об этом? Весьма возможно. Но все же, рассчитывая на случай и чувствуя укол самолюбия, я продолжал исследование. Трижды я выехал на тот же перекресток, к той же самой березе с трех разных аллей.

Я хотел позвать на помощь. К сожалению, сирена испортилась, а рожка у меня не было. Кричать же не имело смысла, потому что я был на слишком далеком расстоянии как от Грей-л'Аббей, так и от Фонвалевского замка.

Я стал волноваться: а вдруг у меня не хватит бензина?.. Я остановился на площадке и проверил резервуар. Он был почти пуст. К чему истощать остаток без толку? В конце концов, пожалуй, легче будет добраться до замка пешком, идя через лес... Я пошел напрямик, но решетка, скрытая кустарником, помешала мне пройти.

По-видимому, этот лабиринт не был устроен у входа в сад для забавы, но преследовал определенную цель помешать входу в убежище.

Чрезвычайно смущенный этим, я стал размышлять:

— Дядюшка Лерн, я вас совершенно не понимаю, — думал я. — Сегодня утром вы получили извещение о моем приезде, а между тем, меня задерживает самое лукавое из всех приспособлений... Какая странная фантазия натолкнула вас на эту мысль? Неужели вы переменились даже больше, чем я предполагал? Вы, наверное, не стали бы прибегать к таким хитрым выдумкам пятнадцать лет тому назад...

...Пятнадцать лет тому назад ночь, наверное, была похожа на эту. Небо озарялось теми же звездами, и точно так же молчание ночи нарушалось кваканьем лягушек, светлым, коротким, чистым и нежным. Соловей пел то же, что поет сегодняшний. Дядюшка, та давнишняя ночь была так же очаровательна, как и эта. А, между тем, тогда моя тетя и моя мать только что умерли с промежутком в восемь дней, и после исчезновения обеих сестер мы с вами остались вдвоем, одинокими — один вдовцом, а другой — сиротой.

И вот в моей памяти воскрес образ дяди таким, каким он был тогда; каким его все знали в Нантеле: в тридцать пять лет уже знаменитый хирург, славившийся изумительной ловкостью рук, удачливый и смелый, не хотевший изменить родному городу, несмотря на славу. Фредерик Лерн был клиническим профессором медицинского факультета, членом-корреспондентом многих ученых обществ, кавалером многих орденов и, чтобы уж ничего не упустить, опекуном своего племянника Николая Вермона.

Я очень редко посещал этого нового отца, назначенного мне законом, так как он никогда не пользовался каникулами и проводил в Фонвале лишь воскресенья, да и то только летом. Да и в эти дни он работал без передышки, в стороне от всех. Он вознаграждал себя за сдерживаемую в течение всей недели страсть к садоводству и проводил все время в маленькой оранжерее, возясь со своими тюльпанами и орхидеями.

И все же, несмотря на редкость наших свиданий, я его хорошо знал и очень любил.

На вид это был здоровый, уравновешенный, скромный малый, может быть, немного холодноватый, но большой добряк.

Я непочтительно называл его начисто выбритое лицо лицом старой бабы, но я был несправедлив: оно было очень выразительно, и среди современников, бреющих усы и бороду, мой дядя был одним из немногих, чья голова оправдывает благородством своих очертаний для предка тогу, для деда шелк костюма, и не сделала бы смешным и на нем самом костюме предка.

В данный момент я вспоминал его в том костюме, который он носил в последний раз, как я с ним виделся — перед моим отъездом в Испанию; он был одет в довольно плохо сшитый черный сюртук. Он сам был богат и, стремясь к тому, чтобы и я разбогател, он послал меня в Испанию торговать пробкой — в качестве доверенного фирмы Гомец в Байадосе.

Мое изгнание продолжалось пятнадцать лет. За это время материальное положение профессора должно было зна-

чительно улучшиться, судя по доходившим даже до глухих трущоб Эстремадуры слухам об изумительных операциях, которые он проделывал.

Мои же дела были совсем швах и находились в большой опасности. После пятнадцати лет упорного труда, я окончательно потерял надежду, что мне когда-нибудь придется продать от своего имени пояса для спасения погибающих и пробки. Поэтому я возвратился во Францию, чтобы подыскать себе какое-нибудь другое занятие, как вдруг судьба, сжалившись надо мной, дала мне возможность жить без занятий: это я — то лицо, на долю которого достался главный выигрыш в миллион и которое захотело сохранить свое инкогнито.

Я устроился в Париже комфортабельно, но не роскошно. У меня была простая, но очень удобная квартира. Я обзавелся только всем необходимым, за исключением, впрочем, семьи и с прибавлением автомобиля.

Да и раньше, чем пытаться обзавестись новой семьей, мне казалось необходимым восстановить отношения со старой, т. е. с Лерном. Я ему написал.

Нельзя сказать, что мы не переписывались с того времени, как мы с ним расстались. Вначале он давал мне много советов в своих письмах и относился ко мне по-отечески. В своем первом письме он даже сообщил мне, что составил в мою пользу завещание, указав, в каком потайном ящике в Фонвале оно спрятано. Отношения наши не изменились и после того, как он сдал мне отчет по опеке. Затем, ни с того ни с сего, письма стали приходить все реже и реже, тон их приобрел сначала какой-то скучающий оттенок, потом сделался сварливым, содержание писем стало банальным, тривиальным, стиль отяжелел и даже почерк как будто испортился. Все эти перемены усиливались с каждым письмом; мне пришлось ограничиться ежегодной посылкой поздравления к Новому году. В ответ я получал пару строк, нацарапанных небрежным почерком... Расстроенный потерей моей единственной привязанности, я был в отчаянии.

Что же произошло?

За год до этой странной перемены — за пять лет до моего теперешнего приезда в Фонваль и путешествия по лабиринту, я прочел в местных газетах следующее:

«— Нам пишут из Парижа, что доктор Лерн отказался от практики, чтобы отдаться целиком своим научным изысканиям, над которыми он работал в Нантейльской больнице. С этою целью знаменитый хирург решил окончательно поселиться в своем замке Фонваль, специально приспособленном ad hoc. Он пригласил к себе на службу несколько опытных сотрудников, в их числе доктора Клоца из Мангейма и трех прозекторов анатомического института, устроенного Клоцем на Фридрихштрассе, 22. Анатомический институт, вследствие этого, закрылся. — Когда можно ждать результатов?»

Лерн подтвердил мне это событие в восторженном письме. Оно, впрочем, ничего нового, по сравнению с газетными заметками, не заключало. А год спустя, как я уже сказал, с ним произошла эта удивительная перемена. Может быть, в результате, после двенадцатимесячной работы, он потерпел неудачу? Может быть, это настолько расстроило моего дядю, что он стал смотреть на меня, как на чужого, насильно влезающего к нему в душу?

Несмотря на все происшедшее, я из Парижа написал ему, в очень почтительном тоне, насколько мог теплее и любезнее, сообщая о своей удаче и прося разрешения известить его.

Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь, когда-нибудь, получил менее заманчивое приглашение, чем я от дяди. Он просил меня, непременно заблаговременно, предупредить о приезде, чтобы он успел прислать за мной лошадей на станцию: — «Ты пробудешь, вероятно, недолго, потому что жить в Фонвале далеко не весело. Здесь почти все время посвящено труду. П р и е з ж а й о д и н, п р е д у п р е д и в о с в о е м п р и е з д е».

— Ну, однако, черт возьми, ведь я приехал один-одинешенек и предупредил заблаговременно о своем приезде. Я-то считал посещение дяди своей обязанностью; да, как же! — Обязанность! Просто глупость — и больше ничего.

И я со злобой глядел на перекресток аллей, тонувших в полумраке, потому что мои тухнувшие фонари освещали местность с яркостью ночника.

Совершенно ясно, что мне придется провести всю ночь в этой лесной тюрьме; до утра уж мне никак не выбраться. Лягушки могли надрываться сколько им угодно на фонвальском пруде; часы на грейской колокольне, вызванивая часы, также тщетно указывали мне направление (ведь колокольни и в самом деле могут быть названы звуковыми маяками) — все это ни к чему не вело — я был в плену.

Пленник! Эта мысль заставила меня улыбнуться. Как я бы боялся прежде, в давно прошедшие времена. Пленник арденнского леса. В руках у Броселианды, дремучего леса, который своею тенью покрывал почти целый материк, начиная у Блуа и доходя чуть ли не до Константинополя по цепи гор. Броселианда! Место действия всех детских сказок и легенд, родина четырех сыновей Эймона и Мальчика-с-пальчика; лес, в котором собирались друиды и всякие мошенники, тот самый, в котором заснула Спящая красавица, над которой бодрствовал Шарлемань. Для каких только сказок его деревья не служили декорацией, если только они же и не были действующими лицами. — Ах, тетушка Лидивина, — пробормотал я, — как вы умели оживлять всю эту чепуху, рассказывая сказки каждый вечер после обеда... Славная женщина! Приходило ли ей когда-нибудь на ум, какое сильное впечатление производили на меня ее рассказы... Тетушка, знали ли вы, что все ваши чудесные куклы заполняли мою жизнь днем и посещали меня ночью во сне? Знаете ли вы, что до сих пор в моих ушах по временам звучат те напевы, которые вы когда-то вызывали в моем воображении, рассказывая о трубе Роланда или о роге Оберона?

Мои размышления были прерваны тем неприятным обстоятельством, что мои фонари потухли. Я не мог удержаться от жеста неудовольствия. На секунду наступила абсолютная темнота; кругом царило такое полное молчание, что мне показалось, будто я сразу ослеп и оглох.

Потом мои глаза мало-помалу прозрели, а вскоре появился лунный серп, распространяя холодный, молочный свет вокруг себя. Лес побелел и стало как будто холоднее. Я задрожал. При тете это случилось бы от страха: испарения, клубившиеся белым туманом в лесу, я принял бы за драконов и клубок змей; пролетела сова — я сделал бы из нее покрытый перьями шлем заколдованного рыцаря; прямая береза, белый ствол которой блестел, как копье, стала бы сыном волшебного дерева; дрогнувший от ветерка дуб сделался бы супругом принцессы Лелины.

Понятно, что ночной пейзаж давал простор воображению и мог довести до галлюцинаций. От нечего делать, я задумался о прошлом. Конечно, я тогда не понимал причин этого явления так хорошо, как теперь, но я и тогда находился под наваждением леса и с наступлением сумерек неохотно выходил. Да и все это место, весь Фонваль, несмотря на бесчисленную массу цветов и прекрасные, извилистые аллеи, был довольно противною местностью. Замок был перестроен из аббатства: стрельчатые окна, вековые деревья, окружавшие его, расставленные по парку статуи, неподвижная вода пруда, окружавшие всю эту пропасть утесы, въезд в нее, точно в ад, — все это придавало ей странный, мрачный вид, даже и не ночью, так что, право, ничего не было бы удивительного, если бы там все происходило на сказочный лад. Там так и надо было бы вести себя, как в сказках.

Я, по крайней мере, во время каникул всегда так и поступал. Для меня каникулы были длинным сказочным представлением, действующие лица которого проводили куда больше времени на деревьях, в воде, или под землей, чем на земле. Когда я босиком галопом мчался по луку, всякому было понятно, что вслед за мной скачет эскадрон кавалерии. А старая рассохшаяся барка! Убранная тремя метлами, изображавшими мачты, и такими же причудливыми парусами, она была моим адмиральским кораблем и олицетворяла флот крестоносцев на Средиземном море, роль которого с успехом исполнял пруд. Я мечтательно смотрел на кувшинки, и они казались мне островами; я



громко называл их по имени: вот Корсика и Сардиния... Мы проходим мимо Италии... Мы огибаем Мальту... Через несколько минут я кричал: Земля! Земля! Высаживался в Палестине: — «Монжуа и Сен-Дени»! На ней я перенес все ужасы морской болезни и пережил тоску по родине; я боролся за Гроб Господень; я научился вдохновению и географии...

Но чаще случалось, что остальные актеры были поддельны. Мне казалось, что так больше похоже на правду. Я вспоминаю — ведь в душе каждого ребенка таится Дон-Кихот — я вспоминаю о великане Бриарее, которого изображал небольшой павильон, и о бочке, которая была драконом Андромеды. Ах, Боже мой, эта бочка! Я приделал к ней голову из тыквы и крылья вампира из двух зонтиков. После тыквы это страшилище было спрятано за поворотом аллеи сзади терракотовой нимфы и я отправился н а п о и с к и за драконом, чувствуя себя храбрее самого Персея, вооруженный прутом, верхом на воображаемом фантастическом крылатом коне. Но когда я его н а ш е л, тыква посмотрела на меня таким странным взглядом, что Персей чуть не ударился в бегство и от волнения искромсал зонтики и тыкву вдребезги.

Созданные мною чучела действовали на меня, точно они были на самом деле теми существами, роль которых я им предназначал. Так как я оставлял себе всегда главную роль — героя, победителя, то без труда преодолевал свою робость днем, но ночью богатырь становился Николаем Вермоном, мальчишкой, а бочка оставалась драконом. Свернувшись в комок под одеялом, взволнованный только что рассказанной тетушкой сказкой, я чувствовал, знал наверное, что сад полон фантастических существ, что Бриарей там стоит на страже и ужасный воскресший дракон, сжима когти, внимательно следит за моим окошком.

Я тогда потерял надежду на то, что стану когда-нибудь похожим на других и сумею даже, когда вырасту, пренебрежительно относиться к сумеркам. А между тем, с годами все мои страхи испарились; хотя я и теперь очень впечатлителен, но далеко не робкого десятка; и сейчас я нисколь-

ко не беспокоился из-за того, что заблудился в пустынном лесу, — к сожалению, слишком пустынном, покинутом феями и волшебниками.

Меня вернул к действительности какой-то неопределенный шум, раздавшийся в том направлении, где должен был находиться замок: как будто рев быка, плачущий вой собаки... И все... Потом снова воцарилось молчание.

Прошло несколько минут, и я услышал, как в пространстве между мной и замком взлетела сова, потом поднялась другая поближе ко мне, потом взлетали другие, все ближе и ближе. Было похоже на то, что их вспугивает какое-то существо, пробираясь мимо них.

И действительно, послышался шум легких шагов — повторный топот четвероногого, которое приближалось, звонко стуча копытами по сухой дороге. Я услышал, как животное ходило туда и назад по лабиринту, вероятно, тоже сбившись с дороги — и вдруг оно совершенно неожиданно появилось предо мной.

По развесистым рогам, гордой осанке головы, тонким ушам можно было сразу узнать старого оленя. Но не успел я даже подумать об этом, как он меня увидел и, быстро повернувшись, скрылся с глаз. Мне показалось — может быть он пригнулся, чтобы сделать большой прыжок — что он странно низкого роста, болезненно мал и, что еще страннее, совершенно белого цвета. Впрочем, может быть, последнее обстоятельство объясняется лунным освещением? Животное исчезло в мгновение ока, и скоро даже мелкий галоп его бега постепенно затих.

Принял ли я сначала козу за оленя, или потом оленя за козу?..

Надо признаться, это меня сильно заинтриговало; до такой степени, что я стал сам себя спрашивать, не вернусь ли я в Фонвале к грезам своего детства? Но, пораздумав немного, я понял, что голод, усталость и бессонница, да еще при помощи лунного света, могут вызвать и не такой обман зрения.

Впрочем, я пожалел, что это не был феномен. Ужас перед чудесным прошел, но любовь к нему осталась.

Я всегда увлекался чудесным. Когда был ребенком, видел его повсюду; возмужав, находил удовольствие предполагать во всем, неподдающемся объяснению, чудесное, охотно считая сверхъестественным какое-нибудь следствие непонятной причины.

А все же, среди всего того, что направлено для уничтожения иллюзии чудес, надо поставить на первом плане нашу собственную склонность к разрешению веры в чудеса. Говорить самому себе: может быть, это чудо, но ведь это только предположение; для того, чтобы насладиться им вполне, я хочу рассмотреть его поближе, знать наверное... Приближаешься, истина становится яснее и чудо исчезает. И я похож в этом отношении на моих близких. Перед тайной, наибольшим соблазном которой является окутывающий ее покров, я, рискуя самыми горькими разочарованиями, мечтаю только о том, чтобы сорвать его.

...Нет, решительно, это животное было необыкновенной породы...

...Мое любопытство было возбуждено его бродяжничеством по непонятному лабиринту; все казалось окруженным таинственностью.

Но от усталости я еле держался на ногах и скоро задремал, приготовляясь на следующий день сделаться сыщиком и придумывая тонкие методы исследования, которое не возбудило бы ничьего подозрения.

Я проснулся на заре и сейчас же увидел, что моему плену пришел конец. Невдалеке от меня, в чаще деревьев, шли люди, разговаривая друг с другом. Они проходили туда и обратно, как тот олень, разбираясь, по-видимому, в запутанных дорожках лабиринта. Был момент, когда они, не выходя из кустарников, прошли на расстоянии нескольких метров от автомобиля, но я не понял их разговора. Мне показалось, что они разговаривают по-немецки.

Наконец, они дошли до того места, на котором вчера появилось животное; я увидел трех человек, внимательно исследовавших почву, точно они искали чей-то след. Там, где олень повернул обратно, один из них издал какое-то

восклицание и показал спутникам, что надо идти назад. Но тут они меня увидели, и я подошел к ним:

— Господа, — сказал я, стараясь улыбнуться полюбознее, — не будете ли вы добры показать мне дорогу в Фонваль; я заблудился...

Все трое смотрели на меня недоверчиво и угрюмо, не отвечая.

Эта троица не производила впечатления обыкновенных людей.

У первого на коротковатом массивном туловище была посажена круглая голова, с совершенно плоским, тоже круглым лицом, на диске которого торчал тонкий, длинный и острый нос и делал это лицо похожим на солнечные часы.

Второй, представительный, как военный, все время покручивал свои усы, которые он носил по манере германского императора. Отличительной чертой его был громадный подбородок, который выдавался вперед, как корабельный нос.

Третий был высокого роста старик, в золотых очках, с сединой, вьющеюся шевелюрой и запущенной бородой. Он ел вишни так же шумно, как можно есть требуху.

Это были, несомненно, немцы, должно быть, три профессора бывшего анатомического института.

Старик выплюнул в мою сторону косточки, а в сторону товарищей одну из тех немецких фраз, в которых, вместе со словами, разряжается еще картечь других бесчисленных звуков. Они обменялись несколькими замечаниями, как залпами, затем, показав мне своим разговором недурное подражание шуму водопада — это они держали совет между собой, — повернулись ко мне спиной и ушли, оставив меня обалдевшим от их грубости.

Но, ведь надо же выбраться отсюда! Эта поездка становилась час от часу все глупее. Что это все обозначало? Что это за комедия? В конце концов, надо мной просто издевались. — Я был в бешенстве. Предполагаемая тайна, которую я собирался раскрыть, теперь, при свете дня, казалась мне детской фантазией, навеянной темнотой и вол-

нением. Ах, уехать бы! Сейчас! Не медля ни одной минуты!

В ярости, не думая о том, что я делаю, я соединил контакт, чего достаточно, чтобы пустить в ход машину, и восьмидесятисильный мотор загудел под крышкой, как рой пчел в улье. Я схватился за ручку, чтобы двинуться в путь, когда услышал за своей спиной взрыв хохота. Я оглянулся.

Ко мне подходил, заломив кепи набекрень, в синей блузе, с мешком, наполненным письмами, веселый и торжествующий почтальон.

— Ха, ха! Я ведь кричал вам вчера вечером, что вы ошиблись дорогой! — сказал он мне, растягивая слова.

Я узнал крестьянина, кричавшего мне что-то в Грейл'Аббей, но не ответил, потому что был очень злобно настроен.

— Да вы едете-то в Фонваль? — спросил он снова.

Я разразился против Фонваля, не помню уж каким, языческим проклятием, в котором шла речь об отправке всей местности, со всеми жителями, ко всем чертям.

— Потому что, если вы туда едете, то я вам покажу дорогу. Я несу туда почту. Только поторопитесь, ведь сегодня двойная почта, потому что сегодня понедельник, а по воскресеньям я не прихожу.

Говоря это, он вытащил письма из мешка и стал разбирать их.

— Покажи-ка мне это письмо, — сказал я ему быстро. — Да, это — в желтом конверте.

Он недоверчиво взглянул на меня и показал его издали.

Да, это было мое письмо! То самое, в котором я сообщал о своем приезде, и оно-то, вместо того, чтобы дойти днем раньше меня, пришло на целую ночь позже.

Это злословие объясняло поведение дяди и прогнало мое плохое настроение.

— Садитесь ко мне, — сказал я. — Вы покажете мне дорогу... а кроме того, мы побеседуем.

Мы тронулись в путь. Наступало утро нового дня.

Густой туман мало-помалу рассеивался, точно солнцу, после того, как оно осветило сумерки, нужно было их еще прогнать, как будто эти исчезающие испарения были запоздалой тенью тумана, какой-то тенью ночи на поверхности дня, удаляющимся призраком исчезнувшего привидения.

## II.

### В ОБЩЕСТВЕ СФИНКСОВ

**А**втомобиль медленно ехал по извилистым аллеям лабиринта. Изредка, на перекрестке нескольких дорог, почтальон сам колебался, на какую указать.

— С какого времени прямая дорога заменена этим лабиринтом? — спросил я.

— Это устроили четыре года тому назад, приблизительно через год после того, как г. Лерн окончательно поселился в замке.

— Вы не знаете, с какою целью это сделано?.. Вы можете говорить совершенно откровенно, я — племянник профессора.

— Ну... потому... впрочем, он большой оригинал.

— Что же он делает такого необычайного?

— Ах, Боже мой, да ничего особенного... Да его почти никогда и не видно! Это-то и страннее всего. Раньше, когда еще не было этой запутанной штуки, его часто можно было встретить: он прогуливался по полям, ну, а после этой постройки, теперь... дай Бог, чтобы он хоть раз в месяц показался, и то, когда приезжает в Грей, чтобы сесть в поезд.

В сущности, все странности поведения моего дядюшки начались одновременно: постройка лабиринта совпала с изменением в тоне писем. Значит, в это время что-нибудь сильно повлияло на него.

— А его сожители? — возобновил я разговор. — Немцы?

— Ну, эти, сударь, это какие-то невидимки. Да, кроме того, представьте себе, что я, которому приходится бывать в Фонвале шесть раз в неделю, я уж и не помню того времени, когда в последний раз видел парк, хоть краешком глаза. За письмами к воротам приходит сам Лерн. Вот какая перемена! Вы знавали старого Жана? Ну так вот: он бросил службу и уехал, его жена тоже. Поверьте, что все это

так, сударь как я вам рассказываю: нет больше ни кучера, ни экономки... ни даже лошади.

— И все это началось четыре года тому назад, не так ли?

— Да, сударь, так.

— Скажи, голубчик, ведь здесь много дичи, не правда ли?

— Ну, знаете, не скажу. Пара зайцев, несколько кроликов... Но зато слишком много лисиц.

— Как, неужели нет косуль, оленей?

— Ничего подобного!

Меня охватило странное чувство радости.

— Вот мы и приехали, сударь.

И действительно, за последним поворотом оказалась прямая аллея, кончик которой Лерн сохранил. Два ряда лип вытянулись по краям ее, и из глубины аллеи ворота Фонваля как бы подвигались нам навстречу. Перед воротами аллея расширялась в полукруглую площадку, а за воротами крыша замка выделялась синим пятном на зеленом фоне деревьев.

Ворота, соединявшие утесы стены, сильно постаревшие, были по-прежнему покрыты черепичной кровелькой; изъеденное червями дерево местами крошилось; но звонок несколько не изменился. Звук его, радостный, светлый и отдаленный, так живо напомнил мне мое детство, что я чуть не заплакал.

Нам пришлось подождать несколько минут.

Наконец, раздался стук сабо.

— Это вы, Гийото? — раздался голос с типичным зарейнским акцентом.

— Да, господин Лерн.

Г. Лерн? Я посмотрел на своего проводника, разинув рот. Как, это мой дядя говорил с таким акцентом?..

— Вы раньше обычного времени, — продолжал тот же голос.

Раздался звук отодвигаемых засовов, и в образовавшуюся щель просунулась рука.

— Давайте...



— Вот, господин Лерн, держите; но... со мной приехал еще кто-то, — тихо произнес внезапно притихший почтальон.

— Кто такой? — нетерпеливо вскричал голос; и в чуть-чуть приоткрытую калитку протиснулась фигура человека.

Это, действительно, был мой дядя Лерн. Но жизнь наложила на него курьезную печать: по-видимому, она сильно потрепала его; предо мной стоял свирепый и неряшливый субъект, седые, сероватые волосы которого свисали на воротник истрепанного, поношенного костюма; преждевременно состарившийся, он глядел на меня сердитыми глазами из-под нахмуренных бровей.

— Что вам угодно? — спросил он у меня суровым тоном.

Произнес он: «Што вам укотно?»

На минуту меня охватило сомнение. Дело в том, что это трагическое лицо, начисто выбритое и жестокое, ни с какой стороны не напоминало больше лица доброй, старой женщины, и я испытал при виде его два противоречащих друг другу ощущения: что я его узнал и что все-таки он был неузнаваем.

— Но, дядя, — пролепетал я, наконец, — это же я... я приехал повидаться с вами... с вашего разрешения. Я написал вам об этом, только мое письмо... вот оно... мы прибыли одновременно. Простите за рассеянность.

— А, хорошо! Надо было сразу сказать. Я должен перед вами извиниться, племянник.

Внезапная перемена фронта. Лерн засуетился, покраснев, сконфуженный, почти подобострастный.

— Ха, ха! Вы приехали в механической коляске. Ага! Ее нужно куда-нибудь поместить, не правда ли?

Он открыл ворота настежь.

— Здесь часто приходится самому себе услуживать, — сказал он под скрип старых ворот.

При этих словах дядя усмехнулся, Но, видя его растерянный взгляд, я готов был держать пари, что ему было не до смеха и что мысли его витают где-то в другом месте.

Почтальон распрощался с нами.

— Сарай все там же помещается? — спросил я, показывая направо, на кирпичный домик.

— Да, да... Я не узнал вас сразу из-за усов, гм... да... да, из-за ваших усов; у вас их раньше не было... Сколько вам лет теперь?

— Тридцать один год, дядюшка.

Когда я открыл сарай, сердце мое сжалось. Повозка, наполовину заваленная дровами, покрылась плесенью; сарай и рядом расположенная конюшня были наполнены всяким полуразвалившимся хламом, повсюду была густая пыль, по углам все было покрыто паутиной, которая свисала даже с потолка густыми прядями.

— Уже тридцать один год, — повторил Лерн, но сказал это как-то машинально и думая, по-видимому, совсем о другом.

— Но послушайте, милый дядюшка, говорите же мне «ты», как прежде.

— Ну конечно; ты прав, милый... гм... Николай, не так ли?

Я чувствовал себя очень стесненным, но и дяде было не по себе. Ясно было, что мое присутствие было ему не особенно желательным.

Незваному гостю всегда заманчиво дознаться, почему он является помехой: — я схватил свой чемодан.

Лерн заметил мой жест и, кажется, вдруг принял решение.

— Оставьте... Оставьте, Николай, — сказал он, почти приказав. — Я сейчас пришлю за твоим багажом. Но раньше надо нам поговорить. Пойдем, прогуляемся.

Он взял меня за руку и почти потащил в парк.

Но он все еще над чем-то размышлял.

Мы прошли мимо замка. За немногими исключениями, все ставни были закрыты. Крыша местами осела, местами даже была пробита; на обветшалых стенах штукатурка обвалилась пластами — и там и сям видна была кирпичная кладка. Растения в кадках по-прежнему были расставлены кругом замка, но ясно было видно, что уж не одну зиму они провели на открытом воздухе, вместо того, чтобы быть

убранными в оранжерею. Вербены, гранатовые, апельсиновые и лавровые деревья стояли засохшими и мертвыми в своих сгнивших и продырявленных кадках. Песчаная площадка, которую когда-то тщательно подчищали, могла теперь сойти за скверный лужок, так она заросла травой и крапивой. Все походило на замок Спящей красавицы перед приходом Принца.

Лерн шел под руку со мной, не говоря ни слова.

Мы завернули за угол печального замка, и перед моим взором появился парк: полная разруха. И следа не осталось от цветочных клумб и покрытых песком широких аллей. За исключением лужка перед замком, превращенного в пастбище и окруженного проволочной решеткой, вся остальная долина вернулась к своему первичному состоянию первобытной чащи. Кое-где виден был след бывших аллей по чуть заметному понижению уровня почвы, но повсюду росли молодые деревца. Сад превратился в густой лес, с рассеянными на нем полянами и зеленеющими тропинками. Арденнский лес вернулся на насильно отнятое у него место.

Лерн дрожащей рукой задумчиво набил большую трубку, закурил, и мы проникли в лес, направившись по одной из бывших аллей, похожих теперь на зеленый грот.

По пути мне встретились старые статуи, на которые я смотрел разочарованным взглядом. Один из прошлых владельцев замка расставил их в изобилии. Эти великолепные соучастники моих бывших переживаний, были, в сущности говоря, простыми современными изделиями, вылепленными каким-нибудь ремесленником под влиянием римских и греческих образов, во времена второй империи. Бетонные пеплузы вздувались, как кринолины, и прически этих лесных божеств: Эхо, Сфинкса, Аретузы были сделаны в форме низко спущенных шиньонов, заключенных в сетки, — как у Бенуатон.

Пройдя в молчании с четверть часа, дядя усадил меня на каменную скамью, сплошь покрытую мхом, стоявшую в тени громадных орешников, и сам сел рядом со мной. В

густой листве, как раз над нашими головами, послышался легкий треск.

Дядя судорожно вскочил и поднял голову.

Среди ветвей сидела простая белка и внимательно смотрела на нас.

Дядя посмотрел на нее таким пристальным взглядом, точно прицелился, потом облегченно засмеялся.

— Ха, ха, ха!. Это просто маленькая... штучка, — сказал он, не найдя, по-видимому, подходящего слова.

Однако, — подумал я, каким причудливым становишься, когда стареешь. Я знаю, что среда способствует всяким переменах: не только начинаешь говорить, помимо своей воли, как окружающие, но даже подражаешь их движениям; достаточно вспомнить, с кем дяде приходится жить, чтобы объяснить себе, почему он грязен, вульгарно выражается, говорит с немецким акцентом и курит громадную трубку... Но он разлюбил цветы, забросил свое хозяйство и дом и выглядит сейчас удивительно расстроенным и нервным... А если прибавить к этому еще и приключения этой ночи, то все становится еще менее ясным.

А профессор, между тем, окидывал меня сбивавшим с толку взглядом и разглядывал меня так, точно производил оценку моей личности и точно он никогда не видал меня до сих пор. Меня это сильно смущало.

В его душе происходила борьба, отголоски которой отражались на его лице; я ясно видел, что он колеблется между двумя противоположными решениями. Наши взгляды ежесекундно скрещивались, и наконец дядя, считая неудобным дальнейшее молчание, решил на вторую попытку.

— Николай, — сказал он мне, ударив меня по колену, — ты знаешь, ведь я разорен!

Я сразу понял его план и возмутился:

— Дядюшка, будьте откровенны, — ведь вы добиваетесь, чтобы я уехал?

— Я? Что за странные мысли приходят тебе в голову, дитя мое?

— Конечно! Я в этом уверен. Ваше приглашение само по себе могло отбить охоту приехать, а прием ваш далек от гостеприимства. Но, милый дядюшка, у вас, должно быть, очень короткая память, если вы могли счесть меня настолько корыстолюбивым, что я приехал сюда из-за наследства. Я вижу, что вы не тот, что были, — впрочем, я мог ожидать этого по вашим письмам, но то, что вы прибегаете к такой грубой уловке, чтобы изгнать меня отсюда, поражает меня. Потому что я-то ведь ничуть не изменился за эти пятнадцать лет; я продолжаю чтить вас всем сердцем и, право, ни с какой стороны не заслуживаю ни этих ледяных писем, ни, клянусь Богом, этого оскорбления.

— Ну, ладно, ладно, тише... — сказал Лерн очень недобрым тоном.

— А, главное, если вы хотите, чтобы я уехал, — продолжал я, — скажите это прямо и открыто и — прощайте. Вы мне больше не дядя!

— Не смей так кощунствовать, Николай!

Он сказал это таким перепуганным тоном, что я попробовал еще больше смутить его:

— И я донесу на вас, дядюшка, на вас, на ваших сподвижников и выведу ваши секреты на свежую воду!

— Ты сошел с ума! Ты окончательно сошел с ума! Да замолчишь ли ты? Вот выдумщик!..

Лерн расхохотался во все горло, но, сам не знаю почему, выражение его глаз испугало меня, и я пожалел, что сказал это. Он заговорил снова:

— Послушай, Николай, не набивай себе головы чушью. Ты славный малый! Дай твою руку — вот так. Ты всегда найдешь во мне своего старого дядю, который тебя крепко любит. Это, конечно, неправда, я вовсе не разорен, и мой наследник, наверное, кое-что получит... если он будет поступать согласно моей воле. Но... в том-то и дело, что тебе, как мне кажется, было бы лучше здесь не оставаться... Здесь нет ничего такого, что могло бы служить развлечением для человека твоего возраста, Николай; я целый день занят...

Теперь профессор мог говорить сколько его душе было угодно. Лицемерие сквозило во всех его словах; он оказался Тартюфом, так что его нечего было щадить, а, наоборот, обмануть его было добрым делом: — я не уеду, пока вполне не удовлетворю своего любопытства. Поэтому я перебил его:

— Вот, — сказал я обиженным тоном, — вот вы снова поднимаете вопрос о наследстве, чтобы уговорить меня покинуть Фонваль. Вы, по-видимому, окончательно мне не доверяете.

Он сделал отрицательный жест. Я продолжал:

— Наоборот, позвольте мне остаться, чтобы возобновить наше знакомство. Это в интересах нас обоих.

Лерн нахмурил брови, потом сказал шутливо:

— Ты продолжаешь отрекаться от меня, мальчишка.

— Ничуть не бывало; но не гоните меня от себя, или вы меня очень огорчите и, откровенно говоря, — сказал я тоже шутливым тоном, — я не буду знать, что и подумать...

— Остановись, — воскликнул дядя громко, — у тебя нет никаких оснований предполагать что-нибудь плохое, как раз наоборот.

— Само собой разумеется. А все-таки у вас есть тайны, но это ваше право иметь их. Если я заговорил с вами о них, то потому, что должен же я упомянуть об этом, чтобы уверить вас, что я буду относиться к ним с уважением.

— Есть всего только один секрет. Один! И цель его благородна и благотворительна, — сказал с ударением дядя, оживившись вдруг. — Слышишь ли, только один. Это секрет нашей работы: благодеяние для всех, и слава, и несметное богатство... Но нужно пока абсолютное молчание... Тайны! Весь мир знает, что мы здесь работаем. Во всех газетах об этом писали. Какая же это тайна?

— Успокойтесь, дядюшка, и определите сами, как мне вести себя у вас; я отдаю себя в ваше полное распоряжение.

Лерн снова погрузился в размышления.

— Ну хорошо, — сказал он, поднимая голову, — пусть будет так. Такой дядя, каким я всегда был по отношению к

тебе, не может тебя оттолкнуть. Это значило бы отречься от всего прошлого. Оставайся тут, но вот на каких условиях.

Мы в наших опытах почти приблизились к концу. Когда опыты подтвердят наше открытие, мы опубликуем его, и весь мир узнает о нем сразу. До того времени я не хочу, чтобы кто-нибудь узнал что бы то ни было о ходе наших работ, потому что сообщение о неувенчавшихся окончательным успехом опытах может дать исходную точку нашим конкурентам, которым, может, удастся опередить нас. Я не сомневаюсь в твоей сдержанности, но предпочитаю не подвергать тебя испытанию, и поэтому прошу тебя, в твоих же собственных интересах, ничего не выведывать, для того, чтобы нечего было скрывать.

Я говорю: в твоих собственных интересах. Я это сказал не только потому, что легче не копать в том, в чем не надо, чем молчать, а еще вот по каким причинам.

Наше предприятие, в конце концов, — коммерческое предприятие. Коммерсант твоего склада мне, впоследствии, очень пригодится. Мы разбогатеет, племянничек, мы будем обладать миллиардами. Но для этого ты должен дать мне возможность спокойно и мирно заниматься приготовлением материалов для нашего богатства; ты с сегодняшнего дня должен быть тактичным и беспрекословно подчиняться моим распоряжениям, чтобы оказаться достойным занять место моего компаньона.

Кроме того, я — не единственный участник этого предприятия. Тебя могли бы заставить раскаться в неповиновении тем правилам, которые я тебе предписываю... раскаться... жестоко... более жестоко, чем ты можешь себе это вообразить.

Поэтому будь безучастен ко всему, племянничек. Старайся ничего не видеть, не слышать и не понимать, если хочешь быть миллионером и... остаться... в живых.

Но имей в виду, что безучастность вовсе не легкая добродетель, особенно в Фонвале... Как раз этой ночью вырвались на свободу вещи, которые не должны были бы быть там и попали туда только по недосмотру.

При этих словах Лерн внезапно обозлился. Он угрожающе протянул кулаки в пространство и пробурчал сквозь зубы:

— Проклятый Вильгельм! Бессмысленная скотина!

Теперь я окончательно убедился, что тайна была значительна и что раскрытие ее обещает мне много любопытного и неожиданного. Что же касается обещаний доктора, то я им придавал так же мало значения, как и угрозам, а рассказ его не возбудил во мне ни алчности, ни страха—чувства, которыми дядя хотел регулировать мое повиновение.

Я спокойно спросил:

— Больше вы от меня ничего не требуете?

— Нет, требую! Но тут пойдет речь о... запрете... другого характера. Видишь ли, сейчас в замке я представлю тебя одной особе; я приютил ее... молодую девушку...

Я взглянул на него с удивлением, и Лерн понял, в чем я его заподозрил:

— О, нет! — воскликнул он. — Это дочерняя привязанность и больше ничего. Но все же я ею очень дорожу и мне было бы крайне неприятно, если бы это чувство уменьшилось из-за другого, которое я уж не могу рассчитывать внушить. Словом, Николай, — сказал он очень быстро, как бы испытывая чувство стыда, — я требую от тебя честного слова, что ты не станешь ухаживать за моей любимицей.

Огорченный таким унижением, а еще больше его бестактностью, я подумал, что как-никак, а ревность без любви так же часто встречается, как дым без огня.

— За кого вы меня принимаете, дядюшка? Достаточно того, что я у вас в гостях...

— Ладно, ладно. Я прекрасно знаю физиологию и знаю, как к ней надо относиться. Могу ли я рассчитывать на тебя?.. Ты даешь слово?... Хорошо!

— Что же касается ее, — добавил он с самодовольной улыбкой, — то на короткое время я спокоен. Она недавно имела случай видеть, как я обращаюсь с ее поклонниками... Не желаю тебе испытать это на себе.



Поднявшись со скамьи, дядя, заложив руки в карманы, с трубкой в зубах, поглядывал на меня насмешливо и вызывающе. Этот физиолог внушал мне непреодолимое отвращение.

Мы продолжали нашу прогулку по парку.

— Кстати, не говоришь ли ты по-немецки? — спросил вдруг профессор.

— Нет, дядя, я владею только французским и испанским языком.

— По-английски тоже не говоришь?... Ну, знаешь, это не очень шикарно для будущего короля торговли. Тебя немногому учили.

Рассказывайте другим, дядюшка, морочьте других!.. Я начал с того, что широко раскрыл глаза, потому что вы вели их зажмурить, и прекрасно увидел по вашему довольному лицу, что вы недовольны только на словах...

Мы дошли до конца парка, направляясь вдоль по утесам, и увидели оба боковых крыла замка, такие же ветхие, как и фасад.

Как раз в эту минуту я обратил внимание на какую-то ненормальную птицу: это был голубь, который летел с необыкновенной быстротой и, описывая над нашими головами все меньшие круги, все ускорял свой полет.

— Погляди на эти розы, растущие на этом тернистом кусте: они очень красивы и интересны, — сказал дядя. — Из-за отсутствия ухода этот куст сделался снова шиповником...

— Какой странный голубь, — сказал я.

— Посмотри же на розы, — настойчиво повторил Лерн.

— Можно предположить, что у него в голове дробинка... Это случается иногда на охоте. Он будет подниматься все выше и выше и упадет с очень большой высоты.

— Если ты не будешь смотреть под ноги, то упадешь и расцарапаешь себе лицо о шипы. Берегись, мой друг!

Это любезное предупреждение было сказано угрожающим тоном, совершенно не подходившим к смыслу слов.

А птица в это время, достигнув центра спирали, не стала подыматься, как я ожидал, а опускаться, делая странные

скачки и кувыркаясь через голову. Она ударилась об утес недалеко от нас и упала мертвой в кустарник.

Почему профессор вдруг сделался еще беспокойнее? Отчего он ускорил свою походку? Вот вопросы, которые я задавал себе, как вдруг трубка выпала у него изо рта. Бросившись вперед, чтобы поднять ее, я не мог скрыть охватившего меня изумления: он перекусил трубку, стиснув в бешенстве зубы.

Инцидент закончился немецким словом, должно быть, ругательством.

Возвращаясь по направлению к замку, мы увидели, что в нашу сторону бежит очень толстая женщина в синем переднике.

По-видимому, такой быстрый способ передвижения был большой редкостью в ее жизни и давался ей нелегко, так на ней все тряслось и она крепко-накрепко сама себя обхватила руками, точно прижимала к себе какую-то драгоценную, вырывающуюся из рук, слишком большую ношу. Увидев нас внезапно, она остановилась, как вкопанная, — что на первый взгляд казалось совершенно невозможным, — и как будто хотела повернуть назад. Все же она решилась пойти вперед, чрезвычайно сконфуженная, с выражением пойманного врасплах школьника на лице. Она предчувствовала свою участь.

Лерн набросился на нее.

— Варвара! Что вы здесь делаете? Вы забыли, что я запретил вам выходить за пределы пастбища? Кончится тем, что я вас выставлю из замка, Варвара, но прежде накажу. Вы меня понимаете?

Толстая женщина страшно перепугалась. Она жеманно опустила глаза, сделала маленький ротик и закудаhtала объяснения: она, мол, увидела из кухни падение голубя и подумала, что он поможет ей разнообразить меню. «Ведь приходится ежедневно есть одно и то же».

— А кроме того, — прибавила эта бестолковая голова, — я не думала, что вы в саду, я была уверена, что вы в ла...

Грубая тяжеловесная пощечина прервала ее на этом слогe — начальном слова «лабиринт», как я предположил.

— О, дядюшка! — воскликнул я в негодовании.

— Послушайте, вы! Или оставьте меня в покое, или уберите вон! Поняли?

Варвара была в таком ужасе, что даже не смела заплакать во весь голос. От сдерживаемых рыданий она икала. Побледнела она страшно, и костистая рука Лерна оставила на щеке ярко-красный след пальцев.

— Ступайте, возьмите багаж этого господина в сарае и снесите его в львиную комнату.

(Эта комната помещалась в первом этаже западного крыла).

— А вы не поместите меня в ту комнату, которую я занимал всегда?

— В какую?

— Как в какую?.. Ну... в желтую, в партере, в восточном крыле, разве вы забыли?

— Нет, — отрезал он сухо, — она занята. Ступайте, Варвара.

Кухарка побежала от нас еще быстрее, чем бежала раньше, и доставила нам возможность любоваться другой стороной ее грузной фигуры, колыхавшейся от быстрого бега.

Направо зеленел заглухший пруд. Мне стало казаться, что я сплю или нахожусь в летаргии. Я все больше и больше удивлялся.

Все же я постарался ничем не выказать своего изумления при виде новой большой постройки из серого камня, приклоненной одной стороной к утесу. Постройка эта состояла из двух зданий, разделенных небольшим двориком; двор этот был закрыт от чужих взглядов стеной с воротами посредине, которые в данный момент тоже были закрыты, но оттуда доносилось клохтанье и даже раздался лай собаки, по-видимому, почуявшей наше присутствие.

Я решился позондировать почву:

— Вы покажете мне вашу ферму?

Лерн пожал плечами и сказал:

— Может быть!

Потом, обернувшись к дому, он позвал: «Вильгельм, Вильгельм!»

Немец с лицом, как солнечные часы, открыл слуховое окно и высунулся в него. Профессор принялся его ругать на его родном языке так свирепо, что бедняга дрожал всем телом.

— Черт возьми! — подумал я, — по-видимому, по его недосмотру, как раз этой ночью вырвались на свободу такие вещи, которые не должны были быть там. Я в этом уверен.

Когда дядя окончил выговор, мы пошли дальше вдоль пастбища. На пастбище находились черный бык и четыре разномастные коровы. Все это стадо, без видимой причины, эскортировало нас во время нашей прогулки вдоль пастбища. Мой ужасный родственник развеселился:

— Вот, Николай, представляю тебе Юпитера; а вот белая Европа, рыжая Ио, белокурая Атор и Пасифая в очаровательном платье — можешь назвать его молочным с чернильными пятнами, или же угольным, испещренным меловыми полосами, как тебе будет угодно.

Эти воспоминания из области легкомысленной мифологии заставили меня улыбнуться. По правде сказать, я готов был ухватиться за первый представившийся предлог, чтобы немного рассеяться; у меня была чисто физическая потребность в этом. Кроме того, я так проголодался, что мог думать только о том, как бы удовлетворить чувство голода. Поэтому меня притягивал только замок: там мне дадут поесть. И эта мысль чуть не заставила меня пройти, не обращая внимания, мимо оранжереи.

Было бы очень жаль. Старую оранжерею расширили, пристроив к ней два больших флигеля; насколько можно было разглядеть за опущенными шторами, эта постройка была произведена очень тщательно и были применены все новейшие усовершенствования. Вся постройка целиком напоминала что-то среднее между дворцом и колоколом и производила довольно неожиданное впечатление чего-то грандиозного.

Такая роскошная теплица в такой трущобе?.. Я с не меньшим изумлением констатировал бы присутствие любовного источника в монастыре.

Во времена моей тетушки львиная комната предназначена была для гостей. Она освещалась — и теперь освещается — тремя окнами, помещенными в нишах, вроде альковов. Одно окно выходит на ту сторону, где находится оранжерея, и снабжено балконом; через другое виден парк: сквозь него я увидел пастбище, за ним пруд, а совсем вдали избушку, которая исполняла роль Бриарей; третье окно приходилось напротив восточного крыла, из него я увидел окна моей прежней комнаты — со спущенными шторами — и, в перспективе, весь фасад замка, заслонявший от меня вид налево.

Я почувствовал себя в этой комнате, как в гостинице. Ни одна вещь не будила во мне воспоминаний. Картина Жуи, потрескавшаяся от времени, снятая со стены и брошенная куда-то в угол, украшала ее яркой раскраской своих львов. Портьеры кровати и окна были украшены теми же изображениями. Между окон симметрично висели две гравюры: «Воспитание Ахилла» и «Похищение Деяниры», которые были так сильно испорчены сыростью, что с трудом можно было рассмотреть лица; убранство довершали недурные нормандские часы, футляр которых напоминал поставленный дыбом гроб — эмблема и в тоже время мера времени. Все это было старомодно и неприглядно.

Я с наслаждением умылся довольно жесткой водой и переодел белье. Варвара принесла мне, причем вошла не постучав, тарелку простого крестьянского супа, ни звука не ответила мне на высказанное мною сожаление по поводу ее щеки и тяжеломерно испарилась, как гигантский эльф.

В зале никого не было, разве только если назвать кем-нибудь две тени.

Маленькое креслице, обитое черным бархатом с двумя желтыми кистями... Потерявшая форму присевшая опухоль, которую я когда-то так удачно назвал жабой, разве я мог увидеть ее снова, не воскресив на ней тени моей милой рассказчицы сказок, моей славной тетушки? А тень моей матери — более строгой, с которой я не смел шутить — разве я могу не вспомнить, как она облокачивалась на твои

ручки, милое кресло, если только ты на самом деле кресло, а не что-нибудь другое?

Все до мельчайших подробностей осталось по-старому. Начиная от знаменитых белых обоев, убранных гирляндами цветов, заплетенных в веночки, кончая ламбрекенами из серого шелка, которые соприкасались своими обшитыми бахромой полами — все удивительно сохранилось. Набитые шерстью опухли по-прежнему округляли поверхность диванов и кресел, и время не сделало более плоскими сиденья шезлонгов и пуфов. Со стен мне, как и в детстве, улыбались все мои усопшие родственники: мои предки, дедушки и бабушки — пастели-миниатюры, мой отец, гимназистом — дагерротип; на камине были прислонены к зеркалу фотографические снимки в бумажных рамках. Группа большого формата привлекла мое внимание. Я снял ее, чтобы лучше рассмотреть. Это был мой дядя в обществе пяти мужчин и большого сенбернара. Фотография была снята в Фонвале: фоном служила стена замка и можно было узнать лавровое дерево в кадке. Любительский снимок, без фирмы. На карточке Лерн выглядел добрым, мужественным и веселым, словом, был похож на того ученого Лерна, каким я рассчитывал его увидеть. Из остальных пяти я узнал только троих — это были три немца, остальных двух я никогда не видал.

В этот момент дверь открылась так внезапно, что я не успел поставить карточку на место. Вошел Лерн, толкая перед собой молодую женщину.

— Мой племянник, Николай Вермон — мадемуазель Эмма Бурдише.

М-ль Эмма, надо полагать, только что выслушала от Лерна один из тех резких выговоров, на которые он был такой мастер. Это видно было по ее растерянному выражению лица. У нее не хватило силы воли даже на то, чтобы сделать всеми принятое ласковое выражение лица; она ограничилась неловким движением головы. Я же, поклонившись, боялся поднять глаза, чтобы дядя нечаянно не прочел того, что делалось у меня на душе.

На душе? — Если под этим словом понимать группу способностей, выделяющих и возвышающих человека над остальными животными, то я думаю, что лучше будет не компрометировать моей души в данном случае.

Мне небезызвестно, что хотя всякая любовь в своей основе и представляет животное стремление полов к соединению, все же, по временам, случается, что дружба и уважение облагораживают это чувство.

Увы! Моя страсть к Эмме осталась навсегда на ступени первобытного животного чувства; и если бы какому-нибудь Фрагонуару вздумалось увековечить нашу первую встречу и он решился бы, в подражание восемнадцатому веку, украсить картину изображением Амура, то я посоветовал бы ему изобразить Эроса с козлиными ногами, — Купидона-фавна без улыбки и без крыльев, — его колчан сделать из лыка, а стрелы из дерева и обагрить кровью; — и назвать следовало бы э т о г о бога любви, не стесняясь, Паном. Это единственный всемирный бог Любви, дарящий наслаждением, не спрашивая у вас позволения, обольстительный порок, делающий вас отцами и матерями, чувственный властелин жизни, который относится с одинаковой заботливостью к вольному воздуху и к кабаньей берлоге, к прекрасной кровати и к собачьей конуре, тот самый, который толкнул нас друг к другу — м-ль Бурдише и меня, как двух шаловливых кроликов.

Существуют ли ступени женственности? Если да, то я ни в одной женщине никогда в жизни не встречал большей женственности, чем в Эмме. Я не стану ее описывать, так как не видел в ней объекта, а только существо. Была ли она прекрасна? Несомненно. Возбуждала ли желание обладать ею? О, наверное!

Все-таки цвет волос ее я запомнил: они были огненного цвета, темно-красного, — может быть, выкрашены; перед моими глазами сейчас пронеслось ее тело и пробудило умершие желания. Она была прекрасно сложена и не имела ничего общего с этими тонкими, плоскими женскими фигурами, которые представляют так мало соблазна для мужчин, потому что любознательному взору не на чем от-

дохнуть. Платья Эммы вовсе и не стремились скрыть ее приятные округлости и, наоборот, из вполне похвального стремления к истине, она давала возможность убедиться, что природа наделила ее ими в двойном количестве, что всегда стремятся доказать скульпторы и художники в пику портнякам.

Добавлю, что это очаровательное существо находилось тогда как раз в расцвете своей красоты и молодости.

Кровь прилила у меня к голове, и вдруг я почувствовал, что мною овладевает чувство бешеной ревности. Ей-Богу, мне казалось, что я охотно отказался бы от этой женщины, лишь бы никто другой к ней не прикасался. Лерн, бывший мне до этого момента противным, сделался для меня невыносимым. Теперь я твердо решил остаться — во что бы то ни стало.

Между тем разговор не завязывался — мы не знали, о чем говорить. Сбитый с толку внезапностью появления и желая скрыть свое смущение, я пробормотал, чтобы что-нибудь сказать:

— Видите, дядя, я как раз разглядывал эту карточку...

— Ах, да, группа моих помощников, во главе со мной. Вильгельм, Карл, Иоанн. А вот Мак-Бель, мой ученик. Не правда ли, очень удачно вышел, Эмма?

Он поднес карточку к глазам Эммы и указывал на изящного, стройного, начисто выбритого, по американской моде, молодого человека небольшого роста, опиравшегося на сенбернара.

— Правда, красивый и остроумный малый? — насмешливо спрашивал профессор. — Идеальнейший шотландец!

Эмма не шелохнулась, все еще не отделавшись от испуганного выражения лица. Но все же она медленно и с трудом произнесла:

— Его Нелли была такая забавная — умела делать всякие штуки, точно ученая собака из цирка..

— А Мак-Бель? — настаивал дядя. — Он тоже был забавен, да?

По задрожавшему подбородку я увидел, что она сейчас расплачется. Она прошептала:



— Бедный, несчастный Мак-Белль!..

— Да, — сказал мне дядя, отвечая на мой немой вопрос, — Донифан Мак-Белль вынужден был оставить у меня службу вследствие чрезвычайно неприятных обстоятельств, о которых можно только пожалеть. Молюсь Богу, чтобы судьба уберегла тебя от таких неприятностей, Николай.

— А кто этот другой? — спросил я, чтобы перевести разговор на другую тему. — Этот господин с темными усами и бакенбардами, кто это?

— Он тоже уехал.

— Это доктор Клоц, — сказала подошедшая поближе и успокоившаяся Эмма, — Отто Клоц; о, этот...

Лерн взглянул на нее с таким выражением, что она замолчала от взгляда. Я не знаю, угрозу какого наказания она прочла в нем, но бедную девушку судорожно передернуло.

В этот момент Варвара, с трудом протиснув в двери половину своей мощной фигуры, жеманно доложила, что кушать подано.

Стол был накрыт всего на три прибора; я решил, что немцы едят отдельно в сером здании.

Завтрак прошел в угрюмом молчании. М-ль Бурдише не проронила ни одного слова и ничего не ела, так что, уходя к себе, я не мог вывести никакого заключения о том, к какому кругу общества она принадлежит, потому что ужас обезличивает и уравнивает людей.

Но я с трудом держался на ногах от усталости. Как только подали десерт, я попросил разрешения пойти спать, причем просил не будить меня до завтрашнего утра.

Войдя к себе в комнату, я немедленно стал раздеваться. Говоря по правде, путешествие, ночь проведенная в лесу и приключения этого утра довели меня до полного изнеможения. Все эти загадки изводили меня, во-первых, потому, что это были загадки, а во-вторых, потому, что они представлялись такими неясными; и мне казалось, что я брожу в каком-то тумане, в котором неясные очертания сфинксов поворачивались ко мне неопределенными лицами.

Я взялся за подвязки, чтобы отстегнуть их... и не отстегнул.

Я увидел в окно, что Лерн в сопровождении своих трех помощников идет по саду, направляясь к серому зданию.

Они идут туда работать, размышляя я, это не подлежит никакому сомнению... За мной никто не следит; особых мер предосторожности еще не успели предпринять против меня, тем более, что дядя убежден, что я сплю.

..Николай! Надо действовать сейчас или никогда!.. С чего начать? С Эммы или с тайны?.. Гм... бедняжка здорово напугана сегодня; что же касается секрета...

Машинально одев снова жилетку и пиджак, я ходил от окна к окну, не зная, на что решиться.

Тут сквозь вычурную решетку балкона я обратил внимание на громадную, расширенную оранжерею. Она была таинственна, заперта, вход в нее был запрещен — она притягивала меня...

Я вышел, стараясь не производить шума и не привлекать ничьего внимания.

### III.

## ОРАНЖЕРЕЯ

Когда я очутился на дворе, у меня было такое ощущение, точно все меня выслеживают, и я бегом бросился в лесок, примыкавший к оранжерее. Потом, пробираясь сквозь густую заросль кустов, направился к входной двери этого здания.

Было очень жарко. Я с трудом пробирался вперед, тщательно избегая царапин и могущего меня выдать шума. Наконец, я увидел главный купол и одну из полукруглых сторон оранжереи: оказалось, что я подошел к ней с боку. Я решил, что будет осторожнее, если я сначала рассмотрю ее, не выходя из леса.

Прежде всего, меня поразило, что за ней, по-видимому, был очень тщательный уход: на устроенном вокруг нее тротуаре все до одной плитки были целы, ни один камень цокольного фундамента не был даже тронут, ставни были аккуратно пригнаны, все планки были на своем месте, и сквозь все отверстия решетчатых ставень видны были стекла, ярко блестевшие на солнце.

Я внимательно прислушался: ни звука не долетало ни со стороны замка, ни со стороны серого здания. В оранжерее тоже царила полная тишина. Слышен был только гул бесчисленного количества мошек, резвившихся в жарком воздухе этого летнего послеобеденного часа.

Тогда я решился. Подойдя вплотную к окну, я приподнял деревянный ставень и попытался разглядеть, что происходит внутри. Но я ничего не мог увидеть, потому что стекла были замазаны чем-то белым с внутренней стороны. Было более чем вероятно, что Лерн пользовался оранжереей не для того, для чего она была первоначально предназначена, а занимался в ней теперь совсем другим, а никак не культурой цветов. Мне показалось довольно пра-

вдоподобным предположение о культуре микробов, которые потихоньку разрастаются в теплой тепличной атмосфере.

Я обошел стеклянный дом кругом. Всюду та же замазка мешала видеть, что делается внутри; мне показалось, что местами она была не так густо намазана. Форточки, хотя и были полуоткрыты, но были так высоко от земли, что я не мог достать до них. Боковых входов не было, а сзади тоже нельзя было попасть в оранжерею.

Так как я все подвигался вперед, разглядывая кирпичи и столь же прозрачные, как они, стекла, то скоро очутился напротив замка, со стороны моего балкона. Мое положение на открытой, незащищенной местности становилось опасным. Приходилось, несмотря на все старания, отправиться в свою комнату и оставить мысль об исследовании предполагаемого дворца микробов, не осмотрев его фасада. Поэтому я решил вернуться к себе, ограничив обзор фасада беглым взглядом, как вдруг при этом взгляде я неожиданно заметил, что разгадка дается мне сама в руки. Дверь была только прикрыта, а высунувшаяся во всю свою длину замочная задвижка указывала на то, что запиравший дверь думал, что запер ее на двойной оборот ключа. О, Вильгельм! Милейший ветрогон!

С первых шагов я должен был сознаться, что мои бактериологические гипотезы ошибочны. Я попал в помещение, напоенное ароматом цветов — атмосфера была сырая и теплая, чуть-чуть пробивался запах никотина.

Я остановился на пороге, очарованный.

Ни одна оранжерея — даже королевская — не произвела бы на меня впечатления такой безумной роскоши, как эта, с первого взгляда. В этом круглом здании, очутившись среди дивных растений, я был прямо поражен. Листья давали полную хроматическую гамму зеленого цвета, в котором ярко выделялись тона разноцветных фруктов и цветов; все это было великолепно расставлено этажами по подымавшимся до самого купола подставкам.

Но глаза постепенно привыкали к этому необыкновенному зрелищу и мой восторг понемногу стихал. Конечно,

для того, чтобы этот зимний сад произвел на меня такое сильное впечатление, надо было, чтобы он состоял из необыкновенно редких растений, так как особенной гармонии в их распределении не замечалось. Растения были составлены по ранжиру, а не по законам изящества и вкуса, вроде того, как если бы рай был поручен попечениям жандарма: они были грубо собраны в одно место по категориям, горшки стояли, как солдаты, на каждом была наклеена этикетка, что указывало скорее на уход ботаника, чем садовника; вообще, во всем проявлялось больше знания, чем вкуса. Эти соображения заставили меня призадуматься. Впрочем, неужели можно было допустить хотя на минуту, что Лерн станет заниматься садоводством для удовольствия?

Продолжая осмотр, я с восторгом разглядывал эти чудеса, хотя, по своему невежеству, не мог бы назвать ни одно из них. Я все же машинально попробовал это сделать, и тогда это великолепие, которое в общей картине производило впечатление чрезвычайной редкости, показалось мне в настоящем свете...

Не веря своим глазам и охваченный лихорадочным любопытством, я стал внимательно разглядывать кактус, — несмотря на свое невежество, я все же узнал его... Но меня сбивал с толку его красный цветок... Я тщательно пригляделся к нему — и мое смущение только усилилось...

Но сомнение было непозволительно: этот цветок, поразивший меня своим видом, был цветком гераниума.

Я перешел к соседнему растению: — из земли поднимались три бамбуковых трубки и окончания их были украшены, как капителями, тремя цветками далии.

Почти напуганный этим, задышавшись от этих неестественных благоуханий, я беспомощно оглядывался кругом, и чудесная бессвязность того места, где я находился, стала для меня ясной.

Там царили: весна, лето и осень все вместе, а зиму Лерн, должно быть, исключил потому, что собраны все растения, все фрукты, но ни один из них не расцвел, не распустился на своем родном кусте или дереве.

Целая колония васильков украшала отрекшийся от своего предназначения куст шток-розы, превратившийся, благодаря им, в голубой тирс. Ветви араукарий были густо усеяны темно-синими колокольчиками горечавки. А на длинных змеевидных стеблях камелий, расставленных шпалерами, красовались пестрые тюльпаны.

Напротив входной двери, у самой застекленной стены, густой массой стояли деревца. Одно из них, выделявшееся из массы, привлекло мое внимание. На нем висело несколько груш, между тем, это было апельсинное дерево. Сзади него, по решетке, гирляндами вились виноградные лозы, которым не стыдно было бы вырасти и в Ханаане; гигантские гроздья состояли из мирабелл — на одной лозе, и рябины — на другой.

Затем, на ветвях миниатюрного дуба, рядом с самостоятельно выросшими желудями, можно было увидеть вишни — на одной ветке, а на другой — орехи. Одна ягода не удалась: не получилось ни вишни, ни ореха, а образовалась чудовищная и отвратительная шероховатая опухоль, испещренная розоватыми жилками.

На ели, вместо смолистых шишек, росли каштаны и лучистые астры; кроме того, на ней росли такие контрасты, как золотистый шар апельсина — солнце восточных фруктовых садов — и кизил, который производит впечатление посмертного плода умершего от голода дерева.

Дальше были сгруппированы более законченные чудеса. Славный Демустье написал бы, что Флора здесь гуляет под руку с Помоной. Большая часть основных растений была мне незнакома, и я запомнил только те, названия которых известны первому встречному. Я, как сейчас, вижу удивительную вербу, на которой выросли гортензии, мак, персики и земляника. Но все-таки самым красивым из этих ублюдков был восхитительный розовый куст, на котором пышно расцвели китайские астры вперемешку с мелкими китайскими яблочками.

В самом центре круглого здания стоял куст с разнообразными ветвями остролиста, липы и тополя; раздвинув

ветви, я имел возможность убедиться, что все они растут на одном и том же стволе.

Это было торжественной победой прививки; искусство, которое Лерн за пятнадцать лет довел до степени чуда, даже до такой степени, что зрелище результата его трудов внушало чувство некоторого беспокойства. Когда человек вмешивается в творчество природы, он создает чудовищное. Меня охватило какое-то беспокойное чувство.

— По какому праву он вмешивается в творчество самой природы? — думал я. — Разве допустимо нарушать законы жизни в такой мере? Разве эта святотатственная игра не является преступным оскорблением Природы?.. Я еще понимаю, если бы эти фальсифицированные предметы радовали изысканный вкус; но, не представляя, в сущности, ничего нового, это какие-то дикие соединения, и больше ничего — что-то вроде растительных химер, или цветочных фавнов, ни то, ни се... Честное слово, все равно — привлекательна эта задача, или нет, но нечестива она во всяком случае, и больше ничего.

Но как бы там ни было, чтобы добиться таких результатов, профессор должен был потратить бездну времени и труда. Эта коллекция служила доказательством этого, да, кроме того, тут же находились и другие доказательства того, что ученый здесь работал: я заметил на столе массу скляночек и не меньшее количество инструментов для прививки и орудий садовника; все это блестело и сверкало, как хирургический набор. Эта находка заставила меня внимательнее присмотреться к цветам, и мне их стало жалко.

Все они были замазаны разного рода клеем, на них были наложены повязки — чуть ли не хирургические, были испещрены рубцами — почти ранами, из которых сочилась какая-то сомнительного цвета жидкость.

На коре апельсинного дерева была глубокая рана. Она имела форму глаза; из этого глаза медленно лились слезы. Я стал нервничать... Трудно поверить, что меня охватила странная жуть при взгляде на оперированный дуб... из-за вишен... они производили на меня впечатление капель кро-

ви... Флок, флок! Две созревшие вишни упали к моим ногам, прошумев, как капли начинающегося дождя.

Я почувствовал, что лишился хладнокровия, необходимого, чтобы приглядеться к этикеткам. Я узнал только несколько чисел, да что Лерн исписал их неразборчивыми французско-немецкими названиями, с многочисленными поправками.

Продолжая внимательно прислушиваться, я обхватил голову руками и дал себе несколько минут передышки, чтобы собраться с духом, — затем открыл дверь в правое крыло.

Передо мной оказалась небольшая галерея. Стеклянная крыша смягчала дневной свет и даже доводила его до голубоватых сумерек. Воздух был удивительно свежий. Пол был устлан плитами.

В этой комнате находились три аквариума, три больших ящика из хрусталя, до того прозрачного, что казалось, будто вода самостоятельно держится в воздухе в форме трех геометрически правильных параллелепипедов.

В двух боковых аквариумах помещались морские растения. Они мало отличались один от другого на первый взгляд. Но в круглом здании я мог убедиться, с какою тщательностью Лерн все распределял по группам, и поэтому я не мог допустить мысли, чтобы он поместил в двух разных помещениях совершенно одинаковые предметы.

Оба бассейна изображали тот же подводный пейзаж. Справа, как и слева, древесные разрастания самых разнообразных цветов покрывали маленькие утесы своими окаменелыми раздвоенными ветвями; песочная почва была усеяна морскими звездами, похожими на эдельвейсы; там и сям валялись пучки меловых палочек, на конце которых распускалось что-то мясистое, напоминающее хризантемы, желтого и фиолетового цвета. Мне трудно описать массу других венчиков, которые там находились; некоторые были похожи на маслянистые, восковые или желатинные чашечки; большая часть была очень неопределенного цвета и неясной формы, а сплошь и рядом они казались просто оттенком воды.



Из крана, находившегося внутри аквариумов, вырывались тысячи пузырьков, и их шумные жемчужины пробивались сквозь ветви деревьев перед тем, как достигнуть поверхности воды и там лопнуть. При виде их можно было подумать, что этот подводный садик нуждался в поливке воздухом.

Собрав все свои гимназические воспоминания, я решил, что оба собрания — различающиеся только в подробностях — заключали в себе исключительно полипов, — существа странные, как, например, кораллы или губки, словом, те существа, которым натуралисты отводят место между растениями и животными.

Двусмысленность их положения всегда вызывает интерес. Я постучал пальцем в левое стекло.

Немедленно задвигалось что-то неожиданное, напоминающая опаловый стаканчик венецианского стекла, который сохранил свою тягучесть; что-то пурпуровое задвигалось ему навстречу: это были две медузы. Но мой стук вызвал и другие движения. Актинии, напоминающие желтые или сиреневые помпончики, втягивались в свои известковые трубочки и снова распускались ритмичными движениями; лучи морских звезд и иглы морских ежей лениво пошевеливались; заплывали какие-то серые, алые, шафранного цвета вещи и, точно в водовороте, весь аквариум взволновался.

Я постучал в правый аквариум. Ничего не зашевелилось.

Было совершенно ясно: это разделение полипов на две части давало мне возможность легче усвоить себе ту разницу, которая в них заложена, ту, которая, соединяя животное с растением, роднит человека с травой. Эти существа были подобраны так, что находившиеся в левом аквариуме — активные — были на нижней ступени лестницы; находившиеся в правом — неподвижные — были на верхушке своей лестницы: одни начинали становиться животными, другие кончали быть растениями.

Итак, воображаемая бездна, которая, казалось бы, разделяет эти две антитезы, сводится к незначительным, почти незаметным изменениям в структуре, к различию, ко-

торое меньше поражает, чем несходство волка с лисицей, а между тем, ведь они двойники, братья.

И вот эту минимальную величину, это различие, которое создавало между ними, по твердому убеждению всех без исключения ученых, непроницаемую стену, потому что оно отделяло неподвижность от произвольного движения, Л е р н у н и ч т о ж и л.

В бассейне, стоявшем в глубине, обе породы б ы л и п р и в и т ы о д н а к д р у г о й. Я заметил там студенистый листочек из породы неподвижных, привитый к подвижной ножке — и т е п е р ь л и с т о ч е к т о ж е д в и г а л с я с а м о с т о я т е л ь н о. Привитые приобретали свойства тех растений, к которым их прививали: неподвижные, всасывая живительный сок, начинали двигаться, а деятельность двигавшихся парализовалась от проникновения в них сока неподвижных.

Я бы охотно подробно осмотрел все применения этого нового принципа, но какая-то медуза, прикрепленная чуть не сотней повязок к морской водоросли, стала отчаянно биться о стекло, и я отвернулся с отвращением. Эта последняя стадия прививок, сопряженная с такими мучениями, была, на мой взгляд, лишним доказательством профанации, и я стал искать в голубых сумерках другое, менее тяжелое зрелище.

Набор профессора был разложен в строгом порядке. На этажерке была расставлена целая аптека. На четырех столах, сделанных из стекла, расставленных вперемешку с аквариумами, расположились ножички и пинцеты мучительства.

Нет! Лерн не имел права!.. Это было так же гнусно, как убийство, даже больше... И эти отвратительные упражнения и опыты над девственной природой были, одновременно, ужасным убийством и омерзительным насилием.

В то время, как я предавался этому вполне законному припадку ярости, раздался шум — я услышал стук.

Я убежден, что после моей смерти, в аду мне не придумают большего мучения, как этот пустячный шум, как будто от ударов маленьким молотком по чему-то твердому.

В течение секунды я испытывал такое ощущение, точно все мои нервы обнажились. Кто-то стучал!

Одним прыжком я очутился в круглом здании; лицо мое было, должно быть, ужасно, потому что инстинктивно, из боязни встретиться с врагом, я придал ему ужасное выражение.

На пороге никого. В парке — тоже. Я вернулся обратно.

Шум возобновился... Он доносился из неисследованного еще крыла здания... Потеряв голову, я бросился туда, не отдавая себе отчета в безрассудстве своего поступка, рискуя столкнуться лицом к лицу с опасностью; я был до того возбужден, что стукнулся головой о дверь, открывая ее с разбега.

До этого припадка довело меня состояние моих нервов и безумная усталость; и до сегодняшнего дня я не могу решить вопроса, не галлюцинировал ли я и не казались ли мне предметы более странными, чем они были на самом деле.

В третьем зале царил яркий свет, и, благодаря этому, мои подозрения о присутствии постороннего человека рассеялись. На конторке я увидел клетку, которая вертелась во все стороны из-за отчаянно метавшейся в ней крысы. Когда крыса подпрыгивала, вместе с ней подпрыгивала и западня — вот причина стука. Увидев меня, грызун остановился. Я не обратил внимания на это обстоятельство.

В этом зале было меньше порядка, чем в предыдущих — она производила впечатление теплицы, за которой не особенно тщательно ухаживали. Но разбросанные в беспорядке, перепачканные полотенца, невытертые ланцеты, не опорожненные пробирки, все это указывало на неоконченную работу, которая была временно приостановлена, и могло служить оправданием того, что эта комната производила впечатление меньшего порядка.

Я продолжал свое следствие.

Первые два свидетеля, попавшиеся мне на глаза, дали мне немного материала. Это оказались два скромных растения, мирно стоявшие в своих фаянсовых горшках. Я позабыл их латинские названия, оканчивавшиеся на *um*, или

на us, о чем я теперь очень жалею, потому что указание на эти названия придало бы моему рассказу больше авторитетности и научности. Но кому могло бы придти в голову запоминать латинские названия шильника или кроличьего уха?

Правда, что первый был очень длинной и стройной породы. Что же касается второго, то он ничем не выделялся и, подобно всем своим сородичам, довольно недурно имитировал — очень удачная подделка, которой они обязаны своим названием — дюжину ушных раковин. Два его волосистых, серебристого цвета листика, точно так же, как и один из стеблей шильника, одевали браслеты-бандажи из белого полотна, на которых местами были видны темные пятна (по-видимому, от смолы).

Я вздохнул с облегчением. «Прекрасно, — подумал я, — Лерн сделал им прививки. Это просто повторение того же, что я уже открыл, или, вернее, это один из первых опытов, робкий и простой, даже, если я не ошибаюсь, неудачный, — путь, по которому он шел, чтобы добиться тех результатов, которые находятся в круглом здании. Чтобы проследить его опыт последовательно, мне следовало бы начать с этой комнаты, потом перейти в рай, помещающийся в центре, и оттуда уже направиться к полипам. Покорнейше благодарю! Слава Богу, я уже видел самое худшее».

Так я думал, как вдруг увидел, что стебель шильника начал извиваться, как червяк.

В то же время за конторкой подпрыгнула какая-то масса серого цвета, с отливом, чем выдала свое присутствие. Там, в луже крови, лежал кролик серебристо-серого цвета. Он только что издох, и на месте, где должны были находиться его уши, у него были две кровавые дыры.

Предчувствие истины заставило меня облиться холодным потом. Тогда я решился прикоснуться к волосатому растению. Ощупав оба перевязанных листика, которые были так похожи на уши, я почувствовал, что они т е п л ы н а о щ у п ь и т р е п е щ у т.

Чувство ужаса отбросило меня к конторке. Судорожно сжатая от отвращения рука отталкивала от себя воспоминание о прикосновении, точно я прикоснулся бы к какому-нибудь омерзительному пауку; с размаху я толкнул рукой мышеловку, и она упала.

Перепуганная крыса снова запрыгала в клетке, бросаясь на прутья, кусала их и завертелась, точно одержимая бесом... Мои, вылезавшие из орбит, глаза беспрестанно переходили с шильника на крысу, с этого, все время извивавшегося, как тонкий, черный уж, стебля к этой крысе, у которой не было больше хвоста...

Ее рана зажила, но, как след другого опыта, за несчастной крысой тащился остаток развязавшегося от ее прыжков пояса, которым был привязан вставленный в ее изрезанный бок зеленый отросток.

Впрочем, этот отросток показался мне обесцвеченным. Значит, Лерн не ограничился тем, что я видел. Он шел все дальше по пути опытов. Теперь он скрещивал между собой животных высшего порядка и все растения... Опозоренный и в то же время выросший в моем мнении, дядя внушал мне отвращение и восхищение, как злой дух.

Но все же его произведения внушали больше отвращения, чем уважения, и мне пришлось собрать всю силу воли, чтобы заставить себя продолжить осмотр их.

А они стоили этого, даже в том случае, если бы это был осмотр галлюцинаций. То, что мне оставалось осмотреть, превосходило кошмары сумасшедшего. Конечно, это было ужасно, но были и смешные стороны: это было шуточно-зловеще.

Кто из пациентов был ужаснее в этом отношении? Морская свинка, лягушка или кустарник?

Морская свинка, если быть справедливым, может быть, не представляла из себя ничего особенно замечательного. Весьма возможно, что ее шкурка была так травянисто-зелена из-за отражения всех этих растений. Весьма допустимо.

Но лягушка? А кустарники? Что подумать о ней и о них?

Она — эта зеленая лягушка, с ее четырьмя лапками, вкопанными в чернозем, с безучастным и угрюмым видом, с опущенными веками, была посажена в горшок, как растение, вкопанное в землю своими четырьмя корнями.

Кустарники — финиковые пальмы. Сначала они не шевелились. Затем — я готов поклясться, что никакого ветра не было — они задвигались по всем направлениям. Их широкие листья раскачивались очень медленно... и мне даже показалось, что я слышу... но в этом я не могу поклясться. Да, стебли раскачивались, причем листья сближались и расходились при каждом движении; вдруг они схватились друг за друга своими широкими зелеными пальцами и конвульсивно обнялись — в бешенстве или в припадке страсти, для драки или объятий, почему знать?

Ведь жест всегда один и тот же, как для того, так и для другого.

Рядом с лягушкой стоял белый фарфоровый сосуд, наполненный бесцветной жидкостью, в которой торчал шприц Праваца. Около кустарника находился такой же шприц и такой же сосуд, но в нем была запекшаяся жидкость темно-красного цвета. Я решил, что в первом сосуде находился древесный сок, а во втором — кровь.

Листья пальмы разошлись в разные стороны, я протянул к ним свою дрожащую руку и под мягкой и теплой поверхностью стебля почувствовал легкие удары, ритмично повторявшиеся, как удары пульса...

Впоследствии мне часто приходилось слышать, что можно чувствовать удары своего собственного пульса, пробуя сосчитать чужой, и весьма вероятно, что мое лихорадочное состояние могло усилить удары моего пульса; но в тот-то момент, разве я мог сомневаться в своих ощущениях?!.. Тем более, что продолжение этой истории не только не возбуждает сомнений в том, что я верно понял то, что я видел, скорее наоборот — подтверждает правильность моих предположений. Я не знаю, служат ли сила и ясность воспоминаний в сомнительных случаях галлюцинаций доказательством заболевания, или наоборот; я-то, во всяком случае, совершенно ясно и точно помню картину этих урод-

ливостей, появлявшихся на фоне разбросанных в беспорядке полотенец, салфеток, бинтов и сосудов, при блеске лежавших тут и там стальных инструментов.

Больше не на что было смотреть. Я обыскал все углы. Нет, не на что. Я проследил шаг за шагом все работы моего дяди и, по странному, счастливому стечению обстоятельств, в том порядке, в котором надо было, чтобы нарисовать себе стройную картину его успехов.

Я без помехи вернулся в замок и пробрался к себе в комнату. Там искусственная бодрость, поддерживавшая меня, исчезла. Раздеваясь, я старался, хотя это мне не удавалось, восстановить этапы моего приключения. Все это уже начинало казаться мне отвратительным сном, и я не верил сам себе. Разве растительное царство могло смешиваться с животным? Что за чепуха! Если даже существуют полипы-растения и полипы-насекомые, то все же, что общего, например, у обыкновенного насекомого с обыкновенным растением? Тут я почувствовал жгучую боль в большом пальце правой руки: я увидел маленькое беленькое пятнышко, окруженное порозовевшею опухолью. Должно быть, пробираясь по лесу, я укололся обо что-то. Я не мог решить, было ли это мезью крапивы, или муравья, и вспомнил, что, даже сделав микроскопический и химический анализ, я не мог бы вывести никакого заключения, — до того их уколы и кислоты, выделяемые ими, тождественны. Этот факт напомнил мне возможность точек соприкосновения между этими двумя мирами; и так как я лишился повода отрицать возможность достижения результата в работах моего дяди, то я стал размышлять дальше:

— В конце концов, Лерн попытался соединить растительное и животное царство и заставил их обмениваться своими жизненными силами. Его попытка, несомненно, прогрессивного характера, удалась. Но являются ли его опыты целью или средством? К чему он стремится? Я не вижу, какую пользу могут принести его опыты при практическом применении их. Следовательно, это не конечный результат его работ. Скажу больше — мне кажется, что последовательность его опытов указывает на стремление к какой-

то более совершенной цели, которую я смутно подозреваю, не умея определить ее. Моя голова разрывается на части от мигрени. Ну, и, может быть, профессор ведет и другие исследования, которые стремятся к той же цели, как и эти, и знакомство с которыми разъясняет конечную цель?.. Ну, постараемся быть логичными. С одной стороны — Создатель, как я устал! — с одной стороны, я видел растения, привитые друг к другу; с другой стороны — дядюшка начинает смешивать растения с животными... Нет, я отказываюсь...

Мой утомленный мозг отказывался от дальнейших рассуждений. Я смутно почувствовал, что в области этих прививок пропущен целый отдел, или же он помещен не в оранжерее. Мои веки отяжелели. Чем старательнее я строил посылки и выводил заключения, тем больше я запутывался. Ночное видение, серые дома, наконец, Эмма разбивали мое внимание и отвлекали меня в сторону страха, любопытства, желания; словом, вряд ли на какой-нибудь другой подушке покоилась голова, наполненная такой галиматией.

Загадка! Секрет!

Да, конечно — загадка. А все-таки, хотя меня по-прежнему окружали сфинксы, все же в рассеяншемся теперь тумане их лица становились для меня загадочными. И так как у одного из этих сфинксов было милое личико и грудь молодой женщины, то я заснул с улыбкой на устах.



## IV.

### ЖАРА И ХОЛОД

Кто спит — обедает. Я проспал до следующего утра.

А между тем, никогда я еще так плохо не отдыхал. Воспоминание о целом дне тряски на автомобиле тревожило мой покой; и во сне я продолжал чувствовать толчки и испытывать повороты виражей. Потом меня посетил целый мир сказочных чудес: Броселианда, как лес у Шекспира, вдруг заходила, причем большая часть деревьев шла парно, обнявшись; береза, напоминавшая копье, сказала мне речь по-немецки, а я с трудом мог расслышать, что она говорит, потому что кругом пели цветы, растения упорно и настойчиво лаяли, а большие деревья от времени до времени рычали.

Когда я проснулся, я продолжал слышать всю эту сумятицу наяву, точно в фонографе, и страшно рассердился сам на себя за то, что не исследовал поподробнее оранжерею; мне казалось, что более тщательный и, главное, хладнокровный осмотр дал бы мне более ценные данные. Я строго осуждал свою вчерашнюю торопливость и свое нервничанье... А почему не попытаться поправить ошибку? Может быть, еще не слишком поздно...

Заложив руки за спину, с папироской в зубах, я направился по неопределенному направлению, короче говоря — прогуливаясь, я прошел мимо входа в оранжерею.

Дверь оказалась на запоре.

Значит, я сам, по доброй воле, упустил единственный случай все разузнать; я чувствовал, что этот случай не может повториться. Ах, я трус, трус!

Чтобы не возбуждать подозрений, я прошел мимо этого запрещенного места, даже не замедлив шага, и теперь шел по аллее, ведущей к серым зданиям. В густой траве, по-

крывавшей ее, была заметна протоптанная тропинка, указывавшая на то, что ею часто пользуются.

Пройдя несколько шагов, я увидел шедшего мне навстречу дядюшку. Не подлежало никакому сомнению, что он подстерегал меня. У него был очень радостный вид. Когда его выцветшее лицо улыбалось, оно скорее напоминало его лицо в молодости. Этот приветливый вид успокоил меня: значить моя шалость прошла незамеченной.

— Ну что же, милый племянничек, — сказал он почти дружелюбно. — Держу пари, что ты присоединился к моему мнению — место не из веселых... Ты скоро будешь сыт по горло от этих сентиментальных прогулок по дну этой кастрюли.

— Что вы, дядя! Я всегда любил Фонваль не за его местоположение, а как любят почтенного друга, ну, как предка, если хотите. Фонваль принадлежит к семье. Я часто играл, вы это знаете, на его лужайках и прятался в кустах — для меня это точно дедушка, качавший меня в детстве на коленях... немного вроде... — я решился подействовать лаской, — вроде вас, дядя!..

— Да, да... — прошептал Лерн уклончиво, — а все-таки Фонваль тебе скоро надоеет.

— Ошибаетесь! Фонвальский парк, уверяю вас, это мой земной рай.

— Ты совершенно прав. Это именно рай, — подтвердил он, смеясь, — и запрещенные яблоки растут как раз в его ограде. Каждую минуту ты будешь наталкиваться на древо познания добра и зла и на древо жизни, к которым тебе запрещено прикасаться... Это сопряжено с опасностью. Будь я на твоем месте, я бы почаще выезжал в твоей механической коляске. Ах, если бы Адам имел в своем распоряжении механическую коляску...

— Но, дядюшка, ведь, за воротами лабиринт...

— Ну так что же! — воскликнул весело профессор, — я буду сопровождать тебя и показывать дорогу. Кстати, мне любопытно посмотреть, как функционируют эти... машины... как их там...

— Автомобили, дядя.

— Ну да: автомобили. — И его немецкий акцент придавал этому слову, и без того малоподвижному, какую-то полноту, тяжесть, неподвижность собора.

Мы шли бок о бок к сараю. Бесспорно, дядя, скрепя сердце, решив примириться с моим вторжением, был мило настроен. Тем не менее, чем дольше держалось его хорошее настроение, тем больше оно меня злило. Мои нескромные планы находили в моих глазах меньше оправданий. Может быть, я совершенно отказался бы от них, если бы не влечение к Эмме, которое толкало меня поступать назло ее деспотическому тюремщику. А кроме того, был ли он искренен? И не для того ли, чтобы побудить меня сдержать данное слово, он сказал мне, подходя к импровизированному гаражу:

— Николай, я много думал о тебе. Я пришел к заключению, что ты, на самом деле, мог бы принести пользу впоследствии, поэтому я хочу узнать тебя покороче. Раз ты собираешься пробыть здесь несколько дней, мы будем часто беседовать. По утрам я мало занят, мы будем проводить время вместе, будем гулять пешком или выезжать в твоей коляске и будем знакомиться друг с другом. Но не забывай того, что ты обещал.

Я молча кивнул головой. — В конце концов, — думал я, — у него, действительно, такой вид, точно он собирается на днях опубликовать во всеобщее сведение полученные им результаты его работ. Отчего цели не быть хорошей, даже если пути, ведущие к ней, не совсем хороши? Наверное, он только их и хочет скрыть, пока не добьется результата: он рассчитывает, что блеск открытия оправдает варварство приемов, которыми он добился его, и заставит общество простить ему их... Лишь бы только конечный результат оправдал результаты и его способы не открылись раньше времени. А с другой стороны, может быть, и в самом деле Лерн боится конкуренции? Отчего же не допустить этого?

Все это я передумал в то время, как перелил в резервуар моей милой машины жестянку эссенции, которая, по счастливой случайности, оказалась у меня в запасе.

Лерн сел рядом со мной. Он указал мне прямую дорогу, проложенную вдоль одного из утесов ущелья, замысловато скрытую ложными поперечными дорожками. Сначала я удивился, что дядя открыл мне этот сокращенный путь, но, взвесив все обстоятельства, я подумал, что ведь этим самым он указывает мне, как мне скорее уехать от него. А разве это не было его самым заветным желанием!

Милейший дядюшка! Нужно же было, чтобы он вел такой замкнутый и поглощенный занятиями образ жизни, чтобы проявить такое трогательное невежество в области автомобилизма. Положим, все ученые проявляют такое же отношение ко всему, что прямо не касается узкой сферы их науки. Мой физиолог был младенцем в области механики. Хорошо еще, если он хоть подозревал о принципах этого послушного, гибкого, бесшумного и быстрого способа передвижения, которым он восторгался.

На опушке леса он сказал:

— Остановимся здесь, пожалуйста. Ты объяснишь мне, в чем дело. Машина чудесная. Дальше этого места я не хожу. А я старый маньяк. Ты, если захочешь, потом поедешь дальше один.

Я начал объяснения, демонстрируя машину. При этом я заметил, что сирена пострадала очень незначительно и что поправить ее можно было в мгновение ока. Два винтика и кусок железной проволоки вернули ей ее оглушающее могущество. Лерн, слушая ее, проявлял признаки наивного восторга. Я стал продолжать свою лекцию, и дядя, по мере того как я говорил, слушал с все более возрастающим вниманием.

И в самом деле, моторы вполне заслуживают того, чтобы ими серьезно интересовались. Если в течение трех последних лет моторы сами по себе мало изменились в своих существенных составных частях и в элементарной структуре, то приспособленность составных частей значительно пошла вперед, а материал стал распределяться более целесообразно. Для постройки, например, моей машины, весь груз которой заключался в запасных баках с эссенцией, не было употреблено ни кусочка дерева. Моя 80-тисильная

машина представляла собой роскошную и точную мастерскую для выработки поглощения пространства, построенную целиком из меди, стали, никеля и алюминия. Великое изобретение нашей эпохи было к ней применено; я говорю о том, что она покоилась не на четырех пневматиках, а на рессорных колесах, удивительно эластичных. Сегодня это кажется обыденным явлением, но год тому назад косяки моих колесных ободов возбуждали всеобщее изумление.

Но самым замечательным в моей машине было, на мой взгляд, то усовершенствование, которого строители автомобилей добились настолько постепенно, что никто не заметил, как оно со дня на день все больше завоевывает право гражданства; а именно: автоматизм.

Первая «коляска без лошадей» была загромождена рычагами, педалями, рукоятками и воланами, необходимыми, чтобы управлять ею; кранами и аппаратами для смазывания, без которых мотор не мог работать. Но с каждым новым поколением автомобилей, они все больше и больше упрощались. Мало-помалу исчезли все рукоятки, требовавшие постоянного и многообразного вмешательства человека. В наши дни органы автомобиля сделались автоматическими и механизм регулируется механизмом. Теперь шофер, в сущности говоря, кормчий: раз машина пущена в ход, она сама влечет себя вперед; разбуженная, она снова заснет только по приказанию. Словом, как заметил Лерн, современный автомобиль обладает всеми свойствами спинного мозга: инстинктом и рефlekсами. В нем происходят произвольные движения наряду с движениями, вызванными разумом проводника, который становится, так сказать, мозгом автомобиля. Из этого центра идут распоряжения желаемого маневрирования, которые передаются по металлическим нервам — стальным мускулам.

— Впрочем, — добавил мой дядя, — сходство между этой коляской и позвоночным животным потрясающее.

Тут Лерн вступал в свою сферу; я насторожился. Он продолжал:

— Мы уже нашли нервную и мускульную систему — их представляют рычаги управления, передачи и ускорения.

Но, Николай, разве шасси не уподобляется костяному скелету человека, к которому болты прикрепляются так же, как сухожилия... Жизненная сила — кровь, это — бензин, который циркулирует по медным артериям... Карбюратор дышит — это легкое: вместо того, чтобы вводить воздух в кровь, он распыляет эссенцию, вот и все... Эта крышка похожа на грудную клетку, в которой ритмично бьется сердце... Наши сочленения так же помещаются в жидкости, как и машинные в масле... А вот и защищенные крышкой кожей резервуары, так же голодающие и насыщающиеся, как желудок... Вот фосфоресцирующие, как у диких зверей, глаза-фонари, пока еще не обладающие даром зрения; вот голос: сирена; вот выводная трубка, которую я не хочу ни с чем сравнивать, щадя твою скромность... Словом, твоей машине недостает только мозга, роль которого исполняет по временам твой, чтобы сделаться большим, глухим, бесчувственным и бесплодным зверем, без вкуса и обоняния.

— Целая коллекция недужных, — сказал я, расхохотавшись.

— А с другой стороны, — возразил Лерн, — автомобиль наделен лучше нас. Подумай об этой воде, которая охлаждает его: какое прекрасное средство от лихорадки... А сколько лет может держаться такая оболочка, если за ней будет внимательный уход! Потому что, ведь ее можно чинить без конца... автомобиль всегда можно вылечить; разве ты только что не вернул дар речи его глотке? Ты с такою же легкостью мог бы заменить его глаза.

Профессор увлекся.

— Это могучее и грозное тело, — почти кричал он. — Но этим телом можно одеться; это доспехи, одев которые, чувствуешь себя дополненным гораздо больше, чем можно рассчитывать; это броня — увеличительница силы и быстроты. Да что там говорить — в этой броне вы представляете из себя марсиан Уэллса на их треножных цилиндрах; вы просто-напросто головной мозг какого-то неестественного головокружительного зверя.

— Дядюшка, ведь в сущности всякая машина такова.

— Нет! Не в такой степени совершенства. За исключением внешнего вида, к которому, собственно говоря, ни одно животное не подходит, автомобиль представляет собой самый удачный из всех автоматов. Он точнее сделан по нашему подобию, чем любой заводной манекен Мельцеля или Вокансона, похожий на живых людей; потому что те, под людской оболочкой скрывают организм вертела, с которым нельзя поставить на одну доску даже организм улитки. Тогда как автомобиль...

Он отошел на несколько шагов и, окинув машину нежным взглядом, воскликнул;

— Какое великолепное создание! До чего велик человеческий гений!

— Да, — подумал я, — в акте творчества кроется совсем другая красота, чем в твоих зловещих смещениях живого тела и плоти с бесчувственным деревом. Но с твоей стороны хорошо, что ты хоть в этом признаешься.

Хотя было уже довольно поздно, я все же поехал в Грейл'Аббей, чтобы пополнить запасы бензина, и хотя Лерн и был большим рутинером, но он до того увлекся автомобилем, что решил переступить через традиционную границу своих прогулок и сопровождал меня.

Потом мы поехали обратно в Фонваль.

Дядюшка, увлекшись, как всякий новичок, все время нагибался вперед и ощупывал железную крышку мотора, потом он разобрал автоматическую масленку. В то же время он задавал мне бездну вопросов, и мне пришлось посвятить его во все мельчайшие подробности устройства моей машины; все это он усваивал с невероятной быстротой и точностью.

— Послушай, Николай, нажми, пожалуйста, сирену... Теперь поезжай медленнее... остановись... пусти в ход опять... поезжай скорее... Довольно, затормози... теперь задний ход... Стой!.. Нет, это, право, колоссально.

Он смеялся от радости. Его вечно надутое лицо похорошело. Всякий, увидевший нас, принял бы нас за двух задушевнейших друзей. А может быть, в данную минуту мы и были ими?.. И я уже предвидел тот час, когда, благодаря

моему автомобилю, Лерн, может быть, откроет мне свои секреты.

Он сохранил свое прекрасное настроение до самого приезда в замок; соседство таинственных зданий нисколько не нарушило его; настроение это переменялось только тогда, когда он вошел в столовую. Тут Лерн вдруг нахмурился: вошла Эмма. Получилось такое впечатление, будто муж тети Лидивины испарился вместе с дядиной улыбкой, а его место занял старый сварливый профессор, недовольный нашим присутствием. Тогда я почувствовал, как мало значения имеют для него все его будущие открытия в сравнении с этой женщиной, и что если он стремился к славе и богатству, то только для того, чтобы иметь возможность удержать около себя эту очаровательную женщину.

Наверное, он ее любил такую же любовью, как и я: как испытывают голод, жажду, — голод кожи и жажду тела. Он был большим лакомкой, я же был голоднее — вот и вся разница между нами.

Да ну же, будем откровенны! Вы, Эльвира, вы — Беатриче, идеальные возлюбленные; сначала вы были только теми, кого страстно желают. До того, как писать в вашу честь стихи, вас просто желали, без всякой литературы, как... к чему искать лицемерные метафоры, — как блюдо чечевицы или стакан свежей воды... Но для вас создали гармоничные фразы, потому что вы сумели сделаться обожаемыми подругами и с тех пор вас окружили этой утонченной нежностью, которая является вершиной нашего чувства, нашей восхитительной и медленной поправкой творения. Конечно, Лерн прав: человеческий гений велик. Но любовь человека доказывает это гораздо лучше, чем построенные им машины. Любовь — это очаровательно двойственный цветок, лучшая и самая удачная прививка сада нашей души, до того тонко сделанная, что кажется почти искусственной, благоухающей искусно смягченным ароматом.

Вот... Но мы с Лерном увлекались не таким цветком, а тем простым и безыскусственным, который является алле-



горическим изображением продолжения рода человеческого, и единственной причиной существования которого служит плод, который он готовит. Его настойчивый запах опьянял нас, — это был благовонный яд, напоенный сладострастием и ревностью, в которой чувствуешь меньше любви к женщине, чем ненависти ко всем остальным мужчинам.

Варвара приходила и уходила, услуживая за столом черт знает как. Мы все молчали. Я избегал смотреть на очаровательную Эмму, убежденный, что мои взгляды были бы до того похожи на поцелуи, что это не могло бы укрыться от дядиных глаз.

Она была теперь совершенно спокойна и рисовалась своим равнодушием; опершись голыми локтями на стол, положив голову на руки, она рассматривала в окно пастбище, на котором ревели его обитатели.

Мне хотелось бы по крайней мере смотреть на то же, на что смотрела моя возлюбленная; это далекое и сентиментальное общение утишило бы, как мне казалось, мое низменное стремление к более интимным встречам.

К несчастью, из моего окна не было видно пастбища, и мои глаза, блуждая без определенной цели, все время, помимо моей воли, чувствовали впечатление ее белых голых рук и колыхание корсажа, трепетавшего сильнее, чем следовало бы.

Больше, чем следовало бы!

В то время, как я объяснял это явление в свою пользу, Лерн в угрюмом молчании встал из-за стола.

Отодвинувшись, чтобы дать пройти молодой женщине, которая, проходя, слегка задела меня, я почувствовал, что она вся дрожит; ноздри ее носа трепетали. Меня охватил прилив неудержимой радости.

Разве можно было еще сомневаться, что я взволновал ее?

Когда мы проходили мимо окна, Лерн взял меня за плечо и сказал мне потихоньку, дрожащим от сдерживаемого смеха голосом — я думаю, что так в свое время говорили сатиры:

— Ага! Вот Юпитер устраивает свои штуки.

И он показал на быка, стоявшего посреди пастбища в возбужденном состоянии, окруженного своим гаремом.

В зале к дяде опять вернулось его отвратительное настроение. Он приказал Эмме отправиться в свою комнату, а мне, дав несколько книжек, посоветовал весьма внушительным тоном пойти позаняться в тени леса.

Мне оставалось только подчиниться. — Ну что же, — уговаривал я сам себя не противоречить, — в конце концов, самый жалкий из нас всех все-таки он.

То, что произошло следующей ночью, доказало, что это не совсем так и значительно умерило мое чувство жалости к нему.

Случившееся расстроило меня тем более, что далеко не способствовало разъяснению тайны, а наоборот, само по себе казалось необъяснимым.

Вот в чем дело:

Я заснул спокойным сном, убаюканный мечтами об Эмме и радужными надеждами на успех у нее. Но во сне, вместо того, чтобы увидеть что-нибудь забавное и легкомысленное, меня преследовали нелепости предыдущей ночи: ревущие и лающие растения. Шум терзал меня во сне все сильнее и напряженнее; наконец, гам сделался до того нестерпимым и казался до того естественным, что я вдруг проснулся.

Я горел и все же был весь в поту. В ушах продолжало звучать как бы воспоминание от только что услышанного во сне пронзительного крика. Я слышал его не впервые... нет... я уже слышал его, этот крик... тогда... когда я ночевал в лабиринте... тогда он доносился издали... со стороны Фонваля...

Я приподнялся на руках. Комната была слегка освещена лунным светом. Все было тихо. Только мерное тиканье маятника часов, изображавших время, равномерно нарушало тишину. Я опустил голову на подушку...

И вдруг, под впечатлением внезапного чувства ужаса, я завернулся с головой в одеяло, зажав уши руками: зловещий, неслышанный, сверхъестественный вой неся из парка

в тишине ночи... Это было что-то кошмарное, и действительность превосходила то, что бывает во сне.

Я подумал о большой чинаре, росшей против моего окна...

Я поднялся, употребляя нечеловеческие усилия. И тут я услышал тявканье... заглушенное... что-то вроде заглушаемого тявканья... усиленно заглушаемого...

Ну что же? Ведь могла же это быть собака, черт побери!

В саду ничего... ничего, кроме чинары и уснувших деревьев.

Вой повторился с левой стороны. В окно — в другое окно я увидел то, что на минуту, казалось бы, все разъясняло. (Все-таки, надо констатировать факт: мои слуховые впечатления во сне были вызваны криком, имевшим место на самом деле; настоящие звуки навеяли сон о воображаемых крикунах).

Там стояла изнуренная громадная собака, спиной ко мне. Она положила лапы на закрытые ставни моей бывшей комнаты и от времени до времени выпускала отрывистый вой. Другой — полузаглушенный лай — отвечал ей изнутри дома; но было ли это действительно тявканье? А что, если мой слух, подозрительно настроенный теперь, ввел меня в заблуждение? Скорее это можно было назвать человеческим голосом, подражавшим собачьему лаю... Чем внимательнее я прислушивался, тем этот вывод казался мне неоспоримее... Ну конечно, нельзя было даже ошибаться так грубо; как я мог сомневаться? это резало слух: какой-то странный шутник находился в моей комнате и забавлялся тем, что поддразнивал бедную собаку.

Впрочем, это ему удавалось: животное выказывало все признаки возрастающего ожесточения. Оно странно модулировало свой вой, придавая ему всякий раз другое, необыкновенное выражение ужасного отчаяния... Под конец оно стало царапать лапами ставни и кусать их. Я услышал хруст дерева в его мощных челюстях.

Вдруг животное застыло, шерсть поднялась на нем дыбом. Из комнаты внезапно послышалась грубая брань. Я узнал голос моего дяди, хотя не мог разобрать смысла его

ругательства. Обруганный шутник немедленно замолк. Ну как понять это противоречие: собака, ярость которой должна была бы утихнуть, теперь выходила из себя — ее шерсть до того ошетибилась, что стала похожа на щетину ежа. Она, громко ворча, пошла вдоль стены, направляясь к средней входной двери замка.

Когда она дошла до этой двери, Лерн открыл ее.

Мое счастье, что я был осторожен и не поднял шторы: первый взгляд Лерна был направлен на мое окно.

Тихим голосом, дрожавшим от сдержанного гнева, профессор пробирал собаку, но с крыльца не сходил, и я понял, что он ее боится. А та все приближалась, ворча и уставившись на него своими горящими под широким лбом глазами. Лерн заговорил громче:

— На место! Грязное животное! — Тут он произнес несколько слов на иностранном языке. — Убирайся! — заговорил он снова по-французски, так как собака продолжала приближаться. — Что ж, ты хочешь, чтобы я тебя прикончил!

У дяди был вид, точно он сходит с ума. При луне он казался еще бледнее. — Она его разорвет, — подумал я, — у него нет даже плети...

— Назад, Нелли! Назад!..

Нелли... Значит, это была собака покинувшего дядю ученика? Сенбернар шотландца?..

И действительно, вот снова слышались иностранные слова, дав мне возможность узнать, к моему еще большему недоумению, что мой дядя говорит по-английски.

Его гортанные ругательства будили ночную тишину.

Собака съежилась, приготовляясь к прыжку. Тогда Лерн, потеряв терпение, пригрозил ей револьвером, показывая другой рукой направление, куда он ее гнал.

Мне случалось видеть на охоте, как собака, в которую прицеливаются, убегает от ружья, смертоносную силу которого она знает. Но такой же эффект от пистолета казался мне менее банальным. Испытала ли раньше Нелли действие этого оружия? Это было возможно, но я больше

верю в то, что она скорее поняла английский язык — обычный разговор Мак-Белля, — чем револьвер моего дяди.

Она утихла, точно от пения Орфея, сжалась и, опустив хвост, побежала к серым зданиям, по направлению, указанному ей Лерном. Он помчался вслед за нею, и ночная тень поглотила их обоих.

На моих часах время скостило еще несколько минут.

Вдали я услышал шумное хлопанье дверями.

Затем вернулся Лерн.

Снова воцарилось молчание.

Значит, в Фонвале находились еще два существа, о присутствии которых я до этой ночи не подозревал: Нелли, жалкий вид которой не давал повода считать ее счастливой, — Нелли, брошенная, вероятно, своим хозяином во время поспешного бегства его отсюда, и мрачный шутник. Потому что этот последний, но здравому размышлению, не мог быть ни одной из женщин, ни одним из трех немцев; шутовской характер его проделки выдавал возраст автора: ребенок, только ребенок может забавляться тем, что станет дразнить собаку. Но, насколько мне было известно, никто не жил в том крыле... Ах, да! Лерн сказал мне: — твоя комната занята. — Кто же в ней жил?

Я это узнаю.

Если скрытое от меня присутствие Нелли в серых зданиях подстрекало еще больше мое любопытство по отношению к этим, и без того заинтриговавшим меня, местам, то закрытые помещения замка неожиданно делались дополнительной целью моих розысков.

Ну, наконец то становилось ясным, что надо было делать.

И так как перспектива охоты зажигала во мне лихорадку — тайное предчувствие говорило мне, что я поступлю умно, если сначала доведу одно дело до благополучного конца и нарушу первое запрещение Лерна, до того, как преступлю второе. — Узнаем сначала основу его предприятий, — советовала мне совесть, — они подозрительны. А потом мы займемся пустяками — любовными шашнями — совершенно спокойно.

Почему я не последовал мудрому совету совести?.. Но совесть поет под сурдинку, и я спрашиваю вас, кто ее услышит, когда страсть начинает кричать во все горло?..

## СУМАСШЕДШИЙ

Н еделю спустя. Я стою в засаде за дверью моей бывшей комнаты — желтой, — приложив глаз к замочной скважине.

Третьего дня я уже приходил сюда, но у меня не хватило времени для наблюдений. Никогда еще левое крыло Фон-валя не запиралось так ревниво, конечно, не считая того времени, когда монахи устроили в нем монастырь.

Как я туда проник? Страшно глупым путем. Желтая комната соединяется с общей прихожей, через которую всем приходится проходить, при помощи трех расположенных одна за другой комнат: непосредственно из прихожей входишь в большой зал, затем идет бильiardная комната, рядом с которой находится будуар, а с правой стороны от будуара и помещается желтая комната, окна которой выходят в парк. И вот, третьего дня, пользуясь случайно выпавшей на мою долю минутой свободы, я попробовал отпереть дверь в зал разными ключами, вынутыми мною из других дверей — то тут, то там.

Вдруг замок поддался. Я открыл дверь и увидел, в слабом полуосвещении от закрытых ставен, всю анфиладу комнат.

На пороге каждой я узнавал ей одной свойственный запах, насыщенный плесенью еще больше, чем когда-то, и напоенный прошлым, если его можно обонять... Повсюду пыль. Я на цыпочках шел по следу засохшей грязи, оставленной сапогами многих людей. Мышь пробежала по залу. На бильiarде три шара, красный и два белых — слоновой кости — вырисовывали фигуру равнобедренного треугольника; я мысленно обдумал удар и рассчитал, с какой стороны и с какой силой надо ударить свой шар, чтобы попасть им в оба.

Я вошел в будуар; остановившиеся часы показывали полдень, или полночь. Я чувствовал себя удивительно восприимчивым.

Однако, у меня еле хватило времени увидеть, что дверь в желтую комнату заперта, как какой-то шум заставил меня быстро вернуться в прихожую...

Шутка могла закончиться очень плохо. Хотя Лерн и был занят работой в сером здании, но он знал, что я нахожусь в замке, а в таких случаях он часто неожиданно возвращался, чтобы посмотреть, что я делаю. Я решил, что осторожнее будет отложить осмотр.

Мне необходимо было обеспечить себе час полной свободы. Я придумал следующую уловку.

Я отправился в Грей-л'Аббей и закупил там всяких туалетных принадлежностей, которые запрятал в чаще леса, недалеко от парка.

На следующий день, за завтраком, я обратился к Лерну и Эмме:

— Я еду в Грей после завтрака. Надеюсь, что мне удастся достать некоторые вещи, которые мне необходимы. Если не достану, придется доехать до Нантеля. Для вас ничего не нужно купить?

На мое счастье, им ничего не было нужно: иначе вся моя комбинация рухнула бы, и все пошло бы прахом.

Таким образом, мне достаточно было четверти часа, чтобы привезти мои вещи из леса, а между тем, для того, чтобы съездить в Грей, походить там по магазинам и вернуться обратно, надо было по крайней мере час с четвертью. Следовательно, я располагал совершенно свободным часом времени, что и требовалось доказать.

Я выезжаю, прячу свой автомобиль в чаще около своих покупок, потом возвращаюсь в сад, перебравшись через стену: плющ с одной стороны, беседка из виноградных лоз — с другой — упрощают мою задачу.

Пробираясь с крайней осторожностью, я добираюсь до входа и вхожу в прихожую.



И вот я в зале; тщательно закрываю за собой дверь; на случай бегства я, из предосторожности, не запираю ее на ключ.

А теперь к делу, — к замочной скважине.

Отверстие довольно широко. Я смотрю, точно сквозь бойницу... Что это за картина?

Комната в полумраке. Косой луч солнца, прокравшийся сквозь решетчатый ставень, как бы подпирает окно своим сверкающим снопом, в котором вьется пыль — мириады существ. На ковре солнце дает отражение решетки всего ставня. Все остальное в тени: конура, комната бедняка! Платье разбросано. На полу — тарелка с остатками какого-то кушанья; рядом какая-то мерзость... Больше похоже на берлогу заключенного. Постель... Ах, что это пошевелилось?

Вот кто — заключенный!

Человек!

Он лежит на животе, среди разбросанных в страшном беспорядке подушек, матрасов и пуховиков, положив голову на скрещенные руки. Он одет в ночную рубашку и панталоны. Не бритая несколько недель борода и волосы — довольно короткие — белокурого, почти белесоватого цвета.

Я где-то видел это лицо... Нет... С тех пор, как я услышал ночью этот ужасный, пронзительный крик, меня преследуют всякие дикие мысли... Я никогда не видел этого надутого бородатого лица, этого гибкого тела, я никогда не встречался с этим жирным молодым человеком... никогда... Выражение его глаз довольно добродушно; глупо, но добродушно... Гм... Какое безразличное выражение лица. Это, должно быть, здоровый лентяй...

Пленник дремлет довольно спокойно: ему надоедают мухи. Он отгоняет их внезапным, неуклюжим движением; изредка приоткрывает глаза, следит с минуту ленивым взглядом за их полетом и снова засыпает; иногда, охваченный внезапным припадком ярости, он мотает взлохмаченной головой из стороны в сторону, пытаясь поймать зубами надоедливых насекомых.

Сумасшедший!

У дяди живет сумасшедший? Кто он такой?..

Я почти прикасаюсь глазом к скважине... Глаз утомился. Попробовав посмотреть другим, который несколько ближе, я увидел мутную картину. Это отверстие невероятно узко... Черт его побери! Я со стуком ударился о дверь...

Сумасшедший вскочил на ноги. Какой он маленький! Вот он идет в мою сторону... А что если он попробует открыть дверь?.. Ну вот еще! Он бросается на землю у двери, обнюхивает ее и ворчит... Бедный малый, на него жалко смотреть...

Он ни о чем не догадался. Теперь он присел в сфере солнечного луча и, весь испещренный полосами солнца, проникающего сквозь решетчатый ставень, стал доступнее моему наблюдению.

Кожа рук и лица сплошь покрыта розоватыми крапинками, точно следами от заживших царапин. Можно подумать, что он раньше здорово с кем-то подрался; но, — вот это будет посерьезнее! — длинный, фиолетового цвета след, идущий от одного виска к другому под волосами, огибает череп сзади. Он до странности напоминает рубец... Этого человека подвергали пытке! Я не отдаю себе отчета, какому испытанию Лерн его подверг или какое мщение он для него придумал, но... Ах, палач!

Внезапно в моем мозгу зарождается ассоциация идей: я мысленно сравниваю индейский профиль моего дяди с поразительной шевелюрой Эммы и белокурые волосы сумасшедшего с зеленой шерстью крысы. Не ищет ли Лерн способ прививать лысым черепам волосатые скальпы? Не это ли его знаменитое предприятие, сулящее такие выгоды?.. Но немедленно же я понимаю, насколько мое предположение глупо. Нет никаких точных данных, подтверждающих его. Да, кроме того, и это, решающее вопрос, доказательство, этот несчастный не был скальпирован: ведь тогда рубец должен был бы описать полный круг. А разве он не мог сойти с ума от какого-нибудь ужасного случая: от падения навзничь, например?

Он — сумасшедший, но не опасный: тихое помешательство. И, решительно, у него хорошее выражение лица.

Иногда даже в его глазах сверкает искра разума... Он, наверное, кое-что знает, я убежден в этом... Я уверен, что, если его осторожно расспросить, он ответит. А что если попробую на авось?..

Дверь закрыта только с моей стороны, и то только на задвижку. Я отодвигаю ее решительным движением руки. Но не успел я еще войти в желтую комнату, как заключенный, нагнув голову, бросается вперед, ударяет меня в живот, опрокидывает меня, падает сам, поднимается и удирает, твякая по-собачьи; вот почему я в ту ночь принял его за проказника.

Быстрота его движений сбила меня с толку. Как ему удалось так меня обморочить? что за странная мысль броситься на меня, нагнув голову?.. Несмотря на неожиданность нападения, я так же быстро был на ногах, как и упал. Я чуть с ума не сошел от испуга и неожиданности. Сумасшедший, выпущенный на свободу идиотом, которого он погубит! О!.. Пропал Николай, погиб, брат; это не подлежит ни малейшему сомнению... Не лучше ли и мне удрать по-английски, не прощаясь, чем пытаться догнать беглеца? Да и какую пользу это теперь принесет?.. Да, но Эмма! А секрет? Ну, будь что будет, попробую догнать его, черт возьми!

И вот я мчусь по пятам незнакомца.

Лишь бы он не побежал в сторону серых зданий!.. К счастью, он бежит в противоположном направлении. Все равно, всякий, кто захочет, может нас заметить... Мой дезертир бежит, подпрыгивая, очень радостный. Он углубляется в парк. Слава Богу! Проклятое животное хоть не кричит больше, и то хорошо... Ай, кто там?.. Нет — это статуя!.. Надо догнать его поскорее. Стоит ему сделать неудачный поворот, и я конченный человек... Ну и весело же он настроен, дуралей!.. Ах, черт возьми, если он будет бежать дальше в том же направлении, он обежит парк кругом, и нам придется пробежать мимо серых зданий, у самых окон Лерна. Да будут благословенны деревья, которые пока еще скрывают нас. Скорее!.. Ах, Боже мой, а дверь-то в зал, которую я забыл закрыть... Скорее, скорее!..

Беглец не знает, кто его преследует, — он ни разу не оглянулся: ему трудно бежать, потому что он босиком, он замедляет бег; я настигаю его...

Он остановился на минутку, обнюхал воздух и побежал дальше. Но я уже близок к нему. Он бросился в кусты, налево, к утесам... Я за ним... Я от него в десяти метрах. Он пробирается сквозь густые кусты, не обращая внимания на царапины. Я мчусь по его следам. Ветви хлещут его по лицу, шипы вонзаются в тело, он жалобно подвывает, задевая за них. Почему же он не раздвигает их? Он мог бы избежать царапин. Утес недалеко. Мы бежим прямо на него. Честное слово, мне начинается казаться, что моя дичь прекрасно знает, куда и зачем бежит... Я вижу его спину... не всегда... тогда мне приходится руководиться треском сучьев.

Наконец, я вижу его узкую голову на фоне скалы... Он стоит неподвижно.

Я приближаюсь бесшумно... Еще минута, и я брошусь на него... Но его неожиданное движение останавливает меня на краю ограниченной с одной стороны скалистой стеной лужайки, в центре которой он стоит.

Он опустился на колени и яростно царапает землю. Эта работа мучительна для его когтей до такой степени, что он снова начинает подвывать, так же точно, как раньше, когда он раздирал себе тело о кусты боярышника и тутового дерева. Комки земли долетают до меня; его судорожно сведенные руки роют землю быстрыми и правильными взмахами: он роет, стена от боли, и по временам погружает в вырытую яму свой нос, насколько можно глубже, фыркает, мотая головой, и снова принимается за свое нелепое занятие. Я ясно вижу его ужасный рубец... А, какое мне дело до его сумасбродств?! Это подходящий момент, чтобы схватить его и увести с собой...

Я потихоньку, на цыпочках выхожу из своего прикрытия. Скажите пожалуйста! Кто-то уж занимался здесь раскопками: кучка посеревшей земли доказывает это; блондин, по-видимому, только возобновил раньше начатую и брошенную работу. Ну да это не важно...

Я собираюсь с силами и хочу броситься вперед.

В этот момент человек издает радостное ворчание, и что же я увидел на дне вырытой им ямки? Старый башмак, который он отрыл. Ах, несчастная чепуха!

Я прыгнул на него. Ага, держу тебя, негодяй!.. Черт возьми, он обернулся, отталкивает меня, но я его не выпускаю... Странно... До чего он неловко управляется со своими руками... Ай, ты кусаться, идиот!..

Я сжимаю его так, что чуть не душу. Видно, что он никогда не боролся. Но все же я еще не победил... удастся ли?.. Неловкий шаг: это я попал в ямку... я наступил на старый башмак. Какой ужас — в башмаке что-то есть, что привязывает его к земле... Я задыхаюсь... Что может больше напоминать ногу, как не башмак?..

Надо покончить с этим. Каждая минута промедления может стоить мне жизни.

Обхватив друг друга руками, мы стоим, упершись о скалу, лицом друг к другу, оба задыхающиеся, оба одинаково сильные... Идея: я широко раскрываю глаза и придаю им приказывающее выражение, точно собираюсь импонировать ребенку или укротить зверя. Тот немедленно ослабевает, выпускает меня из рук и... даже лижет мне руки в знак повиновения... какая гадость!..

— Ну, идем!

Я тащу его. Башмак — с резинками по бокам — торчит носком кверху. Он не похож на несчастный истрепанный башмак, брошенный на большой дороге. Но тем больше отвращения он внушает. Его продолжение, прикрепляющее его к земле, мало видно. Виден только кусочек трико. Может быть, это носок?.. Сумасшедший тоже оглядывается посмотреть на него.

— Ну, бегом, друг мой.

Мой спутник повинует, благодаря волшебным взглядам, и мы бежим во всю мочь.

Создатель! Что произошло в замке во время нашего отсутствия?

Да ничего!

Но, когда мы входили в прихожую, я услышал, что в верхнем этаже разговаривали Эмма с Варварой. Они начинали спускаться с лестницы в тот момент, когда знаменитая дверь зала, закрывшись за нами, успокоила мою тревогу и возбудила новую в моей душе.

Каким путем мне, в самом деле, заперев помешанного, выбраться так, чтобы ни та, ни другая женщина меня не заметили?

Вернувшись на цыпочках к дверям зала, я прислушался, приложив ухо к створке, чтобы понять, в какую сторону они направятся. Но вдруг я стал отступать, пятясь от двери, ища убежища, ширмы, куда бы спрятаться... делая руками движения утопающего... еле сдерживаясь, чтобы не закричать во весь голос...

В замок двери пробовали всунуть ключ.

Мой ключ? Оставленный мною в дверях и похищенный во время моего отсутствия? Ничуть не бывало, мой ключ был при мне, в кармане моего пиджака, куда я спрятал его, войдя в зал в первый раз.

Значит?

Ручка темно-зеленой бронзы медленно поворачивалась. Кто-то сейчас войдет?.. Кто же? Немцы? Лерн?

Эмма!

Эмма, которая увидела пустую комнату. Возможно, что одна из широких шелковых портьер шевелилась, — шевелилась от мелкой дрожи. Но Эмма этого не видала.

Сзади нее стояла Варвара. Молодая женщина говорила ей вполголоса:

— Оставайся здесь и следи за залом. Поступай так же, как и в прошлый раз; так было хорошо! Как только старик выйдет из лаборатории, дай мне знать, кашлянув.

— Я вовсе не его боюсь, — ответила Варвара испуганным голосом, — я уверена, что сейчас он совершенно спокоен и не может прийти; до вечера мы его не увидим. Но Николай, — это птица совсем другого сорта; можете себе представить картину, если он пожалует!..

Значит, серые здания назывались лабораторией. Вот за какое слово профессор угостил служанку пощечиной. Мои познания все расширялись...

Эмма перебила ее нетерпеливо:

— Повторяю тебе: нет никакой опасности. Ну, послушай, разве это в первый раз?

— Да, конечно, но тогда не было Николая!

— Ну, довольно! Делай, что тебе велят!

Не особенно довольная, Варвара отравилась сторожить.

Эмма постояла несколько минут неподвижно, прислушиваясь. Хороша! О, хороша, как Вампир Сладострастия! А ведь она представлялась только силуэтом на ярком прямоугольнике открытой двери, тень без движения... но гибкой, как само движение.

Потому что всегда казалось, что Эмма остановилась во время пляски, и, по непонятному колдовству, казалось даже, что, неподвижная, она продолжает ее, до того гармоничен был ее вид; она блистала гармонией сладострастных баядерок, которые умеют танцевать только танец любви, все па, все движения которых, повороты, малейшие жесты говорят только о наслаждении любви...

Кровь закипела в моих жилах. Меня охватило страшное волнение, вся кровь прилила к мозгу. Эмма у сумасшедшего!.. Все это блаженство станет добычей этого скота... Я готов был убить ее на месте...

Вы говорите, что я ничего не знал, что я делал ни на чем не основанные предположения? Вы, значит, не знаете эту странную походку, этот хитрый и, в то же время, жадный блеск глаз, который является у женщин, пробирающихся потихоньку к своему любовнику... Посмотрите, она двинулась вперед. Ну, что же?.. Разве надо было дважды посмотреть на нее, чтобы угадать, куда и зачем она шла?.. Ведь весь ее вид кричал об этом! Все обличало в ней радость надежды и болезненную необходимость, что уже само по себе является наслаждением!.. Но я не хочу ни описывать это дьявольское тело, ни переводить неприличный язык его движений. Не ждите от меня, что я стану рисовать портрет женщины, стремящейся к своему любовнику

из чисто животного чувства. Потому что — мне мерзко писать об этом! — именно такой она и была. Бывают минуты такого острого восприятия, когда человек, под влиянием какого-нибудь захватывающего его целиком видения или ощущения, превращается весь в зрение, или слух. Так, например, тот, кто слышит какую-нибудь необыкновенную музыку, превращается целиком в слух, слушает и глазами, и ртом, и носом, словом, всем своим существом. Так и эта влюбленная женщина олицетворяла собой не что иное, как блистающий счастьем пол — саму Афродиту.

И это довело меня до бешенства!

Красавица, торопясь к своему гнусному любовнику, задела юбкой за портьеру, сзади которой я спрятался.

Я загородил ей дорогу.

Она вскрикнула в страшном испуге. Мне казалось, что она сейчас упадет в обморок. Влетела Варвара, с перекошенным от ужаса лицом и... моментально испарилась. Тогда я, по глупости, выдал причину своего поступка:

— Зачем вы идете туда, к сумасшедшему? — Мой голос звучал глухо и свирепо и прерывался на каждом слове. — Говорите? Зачем? Да скажите же, ради Бога?

Я бросился на нее и выворачивал ей руки. Она тихо застонала, все ее очаровательное тело волнообразно колыхалось. Я сжимал теплые и упругие руки, точно хотел задушить двух голубков и, впившись глазами в ее расширенные от страха зрачки, все повторял:

— Зачем? Да говори же! Зачем?

Надо же было, чтобы я был таким наивным. Услышав, что я обращаюсь к ней на «ты», она подняла голову, смерила меня глазами с головы до ног и бросила мне, как вызов:

— Ну так что? Вы же прекрасно знаете, что Мак-Белль был моим любовником! Лерн достаточно ясно намекал на это в моем присутствии в день вашего приезда...

— Сумасшедший! — это Мак-Белль?

Эмма не ответила мне, но ее удивленный вид показал мне, что я сделал новую ошибку, открыв ей мое невежество на этот счет.



— Что же, разве я не имею больше права любить его? сказала она. — Не рассчитываете ли «вы» запретить мне это?

Я размахивал ее руками.

— Ты все еще его любишь?

— Больше, чем когда-либо, слышите — «вы»!

— Да ведь он превратился в бессмысленное животное.

— Есть сумасшедшие, которые считают себя Богом; Мак-Белль, по временам, думает, что он собака; может быть, его сумасшествие поэтому так спокойно. Да, кроме того!..

Она таинственно улыбнулась. Можно было поклясться, что она задалась целью вывести меня из себя. Ее улыбка и ее неоконченная фраза нарисовали мне ужасную картину. Ах, проклятая!..

Я обхватил ее, чтобы задушить, выкрикивая ей ругательства прямо в лицо. Она могла считать себя погибшей и, все-таки, полузадушенная, продолжала улыбаться... Это надо мной издевался не тот рот, который жадно целовал, сколько хотел, а другой; все мое бешенство обрушилось на него. Я отучу его улыбаться, он станет краснее и влажнее от другого, а не от поцелуев... Моими челюстями овладело безумное желание кусать... Я был хуже сумасшедшего теперь... Всякие сумасбродства сделались мне понятными. Я бросился на насмешливо улыбавшиеся губы, которые скоро будут окровавленными и разодранными, не так ли?.. Да, как же!.. Мы стукнулись зубами, и это превратилось в поцелуй, — таким, должно быть, был первый поцелуй у первобытных людей в пещере или болотной хижине, примитивный и грубый, скорее борьба, чем ласка, но все же поцелуй.

Потом сладострастная ласка разжала мои зубы, и продолжение этого дикого поцелуя было до того изысканно, что доказало присутствие в моей партнерше не только природного расположения к разврату, но и большую опытность.

Эти объятия подсказали нам и повлекли за собой другие. Но на сегодня мы должны были ограничиться самым вульгарным из них; стоит ли говорить о тихом звоне, ко-

торый издают пружины старого дивана от падения двух тел?

Прибежала Варвара страшно несвоевременно и в то же время вовремя. Она кашляла так, что душа разрывалась на части.

— Барин идет!

Эмма вырвалась из моих объятий. Она снова подпала под власть Лерна.

— Уходите! Торопитесь! — почти кричала она. — Если он узнает, вы погибли... и я, вероятно, тоже, на этот раз... Да уходите же!.. Беги, мой маленький, маленький волчонок: Лерн на все способен.

И я почувствовал, что она говорит правду, потому что ее милые руки вдруг похолодели и затрепетали в моих, и губы ее, к которым я прижимал свои в прощальном поцелуе, дрожали от страха.

Страшно возбужденный неожиданной удачей, которая удесятирила мою силу, быстроту и ловкость, я быстро взобрался на беседку и соскочил с другой стороны стены.

Я нашел свой автомобиль в его гараже из зелени и побросал в него свои пакеты, как попало. Я был идиотски счастлив. Эмма будет моей! Ах, какая любовница!.. Женщина, которая не поколебалась перед тем, чтобы утешить своими посещениями сделавшегося отвратительным друга... Но теперь я был ее избранником, в этом я не сомневался. Любить этого Мак-Белля? Чушь! Вздор! Она нарочно солгала, чтобы вывести меня из себя. Она просто чувствовала к нему жалость...

Кстати, каким образом шотландец сошел с ума? И почему Лерн скрывал это?.. Мой дядя уверял меня, что он уехал... Потом, зачем держать взаперти его собаку?.. Бедная Нелли! Теперь мне стало понятно ее страдание у окна и ее злоба к профессору: драма, столкнувшая Эмму, Лерна и Мак-Белля после того, как профессор накрыл их, вероятно, на месте преступления, произошла на глазах Нелли. Какая драма? Скоро я узнаю, в чем дело: от любовника не должно быть секретов, а я скоро сделаюсь им. Прекрасно! Все устраивалось великолепно!

Моя радость проявляется, обыкновенно, в песне. Если я не ошибаюсь, я мурлыкал под нос сегодилью, веселый мотив которой вдруг оборвался при воспоминании о старом башмаке, который внезапно вынырнул в моей памяти, как маска красной смерти на балу.

Мое настроение сразу упало. В моем мозгу зашло солнце: все потемнело, сделалось подозрительным, угрожающим; овладевшее мною мрачное настроение заставило меня принять за уверенность зловещие предположения, и даже образ пылкой Эммы не мог рассеять их погребального мрака. Я въехал в этот сад-могилу и замок — дом сумасшедших, где меня ожидала царица порока между сумасшедшим и трупом, — погруженный в бездну страха перед неизвестным.

## VI.

### СЕНБЕРНАР НЕЛЛИ

Несколько дней прошло без всяких происшествий. Ничто не удовлетворяло ни моей любви, ни моего любопытства. Лерн — может быть, у него возникли подозрения — устраивался так, что все мое время было занято.

Каждое утро он просил меня сопровождать его то пешком, то на автомобиле. Во время прогулок он занимался тем, что обсуждал какую-нибудь научную тему, задавая мне попутно целый ряд вопросов, точно он, в самом деле, хотел проверить и уяснить себе мои способности. Мы совершали долгие круговые прогулки на автомобиле. Пешком дядя всегда направлялся по дороге, ведущей прямо в Грей; в пылу спора он то и дело останавливался, но никогда не переступал опушки леса. Сплошь и рядом, в середине оживленного спора, иногда в самом начале прогулки или поездки, Лерн внезапно решал вернуться домой, не доверяя тем, кого он оставлял в Фонвале.

Он же распределял мое время после завтрака.

То он снабжал меня поручением в деревню или город, то заставлял меня проделать в одиночестве определенную экскурсию; приходилось без разговоров и возражений садиться на машину или одевать дорожные сапоги. Лерн присутствовал при моем отъезде или уходе, а вечером поджидал меня на пороге дома и требовал подробного отчета в моем времяпрепровождении. Смотря по обстоятельствам, приходилось отдавать отчет в исполненном поручении или описывать посещенные мною местности. Конечно, дядюшка сам не видел большей части тех мест, которые он поручал мне осмотреть и описать, но так как я не мог угадать, какие он знает, то при таких условиях рискнуть вымышленным описанием было опасно.

А потому я добросовестно посещал все, что мне было предписано, и проводил вне дома целые дни.

А как мне хотелось быть поближе к комнате Эммы! По числу открытых и закрытых окон я, зная топографию замка во всех мельчайших подробностях, вычислил, где она должна находиться. Все левое крыло было всегда закрыто. Что касается правого крыла, то повседневная жизнь использовала весь его нижний этаж; из шести комнат верхнего этажа только три были открыты: моя — в выдающейся вперед пристройке, и на другом конце — комната тети Лидивины, выходящая в центральный коридор и соприкасающаяся с ней комната Лерна. Значит, Эмма могла занимать только место тетушки или в своей собственной кровати, или разделять ее с Лерном. Последняя гипотеза выводила меня из себя, и я с нетерпением ждал, чтобы меня оставили в покое, так как хотел проверить ее. Мне достаточно было бы пяти минут: подняться по главной лестнице, открыть дверь, и я знал бы, какого мнения быть по этому поводу.

Подчиняясь его безжалостной тирании, я встречался с м-ль Бурдише только за столом. Мы оба прикидывались совершенно чужими друг другу. Я набрался храбрости смотреть на нее, но разговаривать с ней не смел. Она упорно не произносила ни слова, так что, за невозможностью судить о ней по разговору, мне пришлось разбираться в ней по ее внешности и поведению. И, должен признаться, как ни груб людской обычай питаться мертвыми животными и увядшими растениями, все же есть различные манеры насыщаться... Эмма охотно брала котлетку прямо в руки, и всякий раз, когда это с ней случалось, мне казалось, что я слышу, как она говорит своим вульгарным голосом: «Мой маленький волчонок»! Но скажите пожалуйста, какое отношение имеет вежливость к разврату и что общего между поведением за столом и в алькове?

Сидя между мной и Эммой, Лерн волновался. Он все время крошил хлеб и нервно трогал прибор. Ему случалось, в припадке глухого непонятного гнева, молча стучать кулаком по столу, отчего звенели стаканы и тарелки.

Однажды, нечаянно, без всякого умысла, я задел его под столом ногой. Доктор заподозрил мою невинную ногу в легкомысленных планах, приписал ей наклонности телеграфа и, убежденный, что случайно накрыл своей ногой какой-то хитрый ножной мадригал, немедленно решил, что м-ль Бурдише плохо себя чувствует и, начиная с этого дня, будет кушать у себя в комнате.

Тут моим мозгом овладели сразу две страсти под впечатлением двойной потребности вызвать у других лиц страдание и удовольствие: ненависть к Лерну и любовь к Эмме. И я решил пойти на самые рискованные шаги, чтобы удовлетворить оба чувства.

Как раз в тот же самый день, дядя сказал мне внезапно, без каких бы то ни было предварительных разговоров, что он собирается взять меня с собой завтра в Нантель, где у него есть дела.

У меня промелькнула надежда избавиться от его надзора. Завтра — воскресенье; Грей праздновал свой годовой праздник: я сумею этим воспользоваться.

— С удовольствием, дядюшка, — ответил я. — Мы выедем пораньше, на случай возможной в пути задержки из-за какого-нибудь несчастного случая.

— Я предпочел бы доехать на автомобиле только до Грея, а оттуда поехать в Нантель по железной дороге... Все-таки так вернее...

Это мне было еще больше на руку.

— Хорошо, дядюшка, будь по-вашему.

— Поезд уходит в Грей в 8 часов утра. Мы вернемся с поездом в 5 часов, четырнадцать; раньше поезда нет.

Подъезжая к деревне, мы издали слышали гул, который временами покрывался мычаньем. Заржала лошадь, вблизи блеяли овцы.

Мне с трудом удалось пробраться через площадь Грей-л'Аббей, превращенную уже в ярмарку, на которой кишела спокойная и медленно передвигающаяся толпа.

В промежутках между будками для стрельбы в цель и другими нищенскими лавчонками разместили скот для продажи: тут мозолистые руки взвешивали вымя, обнажали

десна, чтобы по зубам узнать возраст, ощупывали мышцы, чтобы судить о крепости их; на глазах у всех, нисколько не смущаясь, молодая девушка проверяла пол кролика, зажав его между колен; барышники ввали и хвастались; между двух рядов покорных крестьян конюхи проезжали грузных першеронов и тяжелых булонских лошадей; ружейные выстрелы смешивались с другими звуками. Первый напившийся в этот день покачивался и мешал мне проехать, называя меня «гражданином». Мы медленно пробирались вперед. В центре полумолчаливого Арденнского рынка, в гостинице, уже пели, но не горланили еще; колокола церкви уже начали свой перезвон, призывая прихожан к молитве, а построенная на площади белая, убранная листьями эстрада ясно указывала на то, что праздник не обойдется без доморощенной музыки доморощенного оркестра.

Мы перед вокзалом. Это был как раз тот момент, который я назначил себе для начала моего активного выступления.

— Дядюшка, скажите, придется ли мне сопутствовать вам во всех ваших странствованиях по Нантелю?

— Конечно, нет. А что?

— В таком случае, дядюшка, так как я питаю отвращение к кафе, ресторанам и кабачкам, я попрошу вас разрешить мне подождать вас здесь, где я могу провести время с таким же успехом, как и в кафе в Нантеле.

— Но кто же тебя заставляет?..

— Во-первых, меня соблазняет грейский праздник. Мне хотелось бы подольше понаблюдать это сборище: здесь ярко обрисовываются нравы целой расы, дядюшка, а сегодня я чувствую в себе душу этнолога...

— Ты издеваешься или это причуда...

— Во-вторых, дядюшка, кому мы можем поручить присмотр за нашим автомобилем? Не хозяину ли гостиницы? Или еле держащемуся на ногах содержателю кабака, переполненного пьяными мужиками? Надеюсь, вы не думаете, что я оставлю на девять часов автомобиль, стоящий двадцать пять тысяч франков, предоставленным на потеху пья-

ной деревне? О, нет! Я хочу иметь возможность самому присмотреть за машиной!

Дядя не был вполне убежден в моей искренности. Он решил расстроить маленькое предательство, которое я имел в виду сделать: вернуться в его отсутствие в Фонваль на автомобиле или на взятом напрокат велосипеде с тем, чтобы вернуться в Грей к пяти часам 14 минутам. В сущности, это и была та хитрость, которую я придумал. Проклятый ученый чуть не испортил всего.

— Ты прав, — сказал он чрезвычайно холодно.

Он слез и, не обращая никакого внимания на окружавшую нас толпу празднично разодетых путешественников, поднял крышку мотора и внимательно осмотрел его. Я почувствовал себя нехорошо.

Дядюшка вынул свой нож, отвинтил карбюратор и положил к себе в карман некоторые из его составных частей. В то же время он говорил мне:

— Вот твоя коляска и лишена возможности передвижения! Но так как ты можешь улизнуть другим путем, то я назначу тебе работу. К моему возвращению ты должен будешь представить мне карбюратор, пополненный недостающими частями твоей собственной работы. Кузница не закрыта; но кузнец несмышленный малый и едва ли сможет тебе быть полезным. Тут есть, чем тебе заняться до моего возвращения...

Видя, что я не протестую, он добавил немного стесненным тоном:

— Прости меня, Николай, и поверь мне, что все это делается с единственной целью принести тебе же пользу в будущем, скрывая тайну наших работ... Прощай!..

Поезд увез его.

Я спокойно смотрел на то, что он делал, не высказывая неудовольствия и не испытывая досады. Я неважный шофер и терпеть не могу, когда мои руки перепачканы в масле и расцарапаны, а так как, по желанию дяди, я лишен был возможности держать помощника («приезжай один»), то я привез с собой целый ряд запасных частей; среди них у меня был и новый, совершенно целый кар-



бюратор, который можно было сразу пустить в ход. Моя лень сослужила мне большую службу, чем ловкость профессионала.

Я немедленно принялся за работу, волнуясь при мысли, что обитатели Фонваля предоставлены самим себе.

Немного времени спустя, запрятав автомобиль в густой лесок, я снова перелезал через стену парка.

Я, несомненно, направился бы сразу в комнату Эммы, если бы со стороны серых зданий не раздавался заунывный жалобный лай.

...Лаборатория!.. Нелли!.. Странность того, что лаборатория служила тюрьмой для собаки, заставила меня колебаться между стремлением открыть тайну и желанием обладать Эммой. Но на этот раз какое-то инстинктивное предчувствие опасности взяло верх: я направился к серым зданиям. Да кроме того, немцы, наверное, были там, и их присутствие не даст мне возможности застрять там надолго. Следовательно, речь шла всего о нескольких минутах, которые будут похищены у любви: хотя и победил рассудок, но какая это была слабая победа!

Пробираясь мимо желтой комнаты, я остановился и прислушался у закрытых ставен — один ли он?

Оказалось, что один; мое сердце наполнилось чувством безграничной и некрасивой радости.

По небу бежали белые облака. Ветер дул из Грей, и по ущелью до меня доносились обрывки монотонного колокольного звона. Колокола без усталости непрерывно повторяли три одинаковых ноты; мне было весело; я насвистывал какой-то мотив, сам не знаю какой... Право, отсутствие Лерна освобождало от какой-то постоянной принужденности: можно было думать о всякой чуши, и мозг предавался самым необузданным отклонениям...

Напротив лаборатории, через дорогу, находился лесок. Чтобы добраться до него, я осторожно лавировал: там я расставил свои батареи. Посреди этого леска рос мой старый друг — большая сосна; ее широкие ветви были расположены винтообразной лестницей; она была выше всех окружающих строений: трудно было найти лучший и более

доступный обсервационный пункт. В дни детства я играл на ее ветвях в «матроса на реях»...

Дерево сохранило свои густые ветви и я полез наверх. На верхних ветвях меня ждал сюрприз: сохранившаяся с детства, полусгнившая и обмотанная веревками перекиданная, изображавшая марс. Кто мог бы предсказать мне, когда я открывал, сидя на ней, материки и архипелаги, — столько похожих на правду выдумок, — что наступит день, когда я буду здесь на часах, чтобы открыть сказочные вещи, которые окажутся правдой.

Я раздвинул ветви и стал смотреть.

Как я уже рассказал, лаборатория помещалась в двух зданиях, разделенных двором.

Левое здание состояло из двух этажей. В обоих были одинаковые широкие окна, одинаково расположенные. Мне показалось что там помещались два расположенных один над другим зала. Мне виден был только верхний, довольно сложно меблированный: аптекарский шкаф, мраморные столы, заставленные баллонами, склянками, ретортами и хирургическими наборами из полированного блестящего металла. Кроме того, там стояли два трудно поддающиеся описанию аппарата из стекла и никелированного металла, вид которых ничего не напоминал, разве только очень отдаленно и туманно металлические шары на одной ножке, куда лакеи в ресторанах прячут грязные салфетки.

Второе здание было слишком далеко от меня для того, чтобы я мог в него заглянуть, но по внешности было похоже на обыкновенный дом — по-видимому, квартиру трех помощников.

Но все мое внимание было привлечено двором, который я в день своего приезда принял за птичий двор.

Печальный двор: все стены его были уставлены клетками различных размеров, установленными друг на друга от земли до высоты человеческого роста. Каждая клетка была снабжена надписью, и в них были размещены кролики, морские свинки, крысы, кошки и другие животные, которых я, за дальностью расстояния, не мог разобрать; одни из них грустно шевелились, другие лежали неподвижно,

наполовину забившись в солому. На одной из подстилок что-то трепетало, но я не мог разглядеть, в чем дело, почему и решил, что это гнездо мышей.

Последняя клетка, направо, служила курятником. Против обыкновения, все птицы были туда загнаны.

Все это было молчаливо и меланхолично.

Но все же четыре курицы и один петух, самой обыкновенной породы, вели более оживленный, чем остальные, образ жизни и важно похаживали, поклевывая бетонный пол, на котором они упорно и тщательно искали зерен и червей.

Посредине двора было отгорожено решеткой четырехугольное пространство: это была псарня. Перед своими будками собаки прогуливались с покорным видом, вдоль и поперек, как эти философы умеют это делать: тут были ужасные разночинцы пуделя, трубачи браконьеров, любимые собаки швейцаров, собачьи вырожденки и помеси ищеек, словом, свора собачонок, ни к чему больше не годных, как к верности. Итак, они мирно прогуливались и окончательно придавали этому двору вид внутреннего двора ветеринарного госпиталя.

Тут обстоятельства принимают мрачный оттенок.

Действительно, редкое из всех этих животных производило впечатление здорового. Большая часть имела повязки, кто на спине, кто вокруг шеи против затылка, а главным образом на голове. И сквозь решетки темниц не видно было ни одного, у которого не было бы сделано из полотна шапки, чепчика или тюрбана. Процессия грустных собак, в шутовских белых колпаках, напоминавших туарегов или монахинь, с дощечкой, привязанной к шее, представляла собой какой-то похоронный маскарад. Тем более, что все эти несчастные собаки были награждены каким-нибудь увечьем.

Одна кивала мордочкой на каждом шагу; другая хромила; третья трясла головой, как при старческом маразме; одна неизвестно почему спотыкавшаяся дворняжка жалобно стонала и вдруг продолжительно завывала, точно перед покойником, как говорят люди...

Нелли там не было.

В темном углу я заметил темный безмолвный птичник, в котором никто не летал. Насколько я мог разглядеть, птицы принадлежали к самым ординарным породам и, главным образом, там кишели воробьи. Тем не менее, большая часть принадлежала к разновидности с белыми головами; слабость моих орнитологических познаний мешала мне определить их породу на таком расстоянии.

Запах фенола был слышен даже там, где я находился.

Ах, великолепные помещицьи дворы, на которых пахнет теплым навозом, слышно воркование голубей на покрытых мхом черепичных крышах, кукареку важных петухов, таяканье собаки, привязанной цепью к своей будке, видны эскадроны гусей, которые мчатся, распушив крылья, сами не зная куда, — о вас я думал, глядя на эту больницу... Действительно — печальный двор, внушающий отвращение своей дисциплиной и своими больными, с привязанными к ним этикетками, как у растений в оранжерее.

Вдруг поднялась возня и шум: собаки забились в свои будки, а птицы спрятались под каменный желоб. Прекратилось всякое движение; казалось, что в птичнике и клетках находятся чучела набитых соломой животных и птиц. Из левого флигеля вышел Карл — немец с императорскими усами.

Он открыл одну из клеток, протянул руку к свернувшемуся в глубине ее клубку шерсти и вытащил обезьяну. Шимпанзе отчаянно отбивался и защищался, но помощник умирил его, потащил за собой и исчез в ту же дверь, из которой вышел.

На дворе протяжно завывала дворняжка.

Тогда поднялась суматоха в зале с аппаратами, и я увидел, что в нее вошли три дядиных помощника. Связанную обезьяну положили на узкий стол и крепко-накрепко привязали к нему, после чего Вильгельм сунул ей что-то под нос. Карл сделал ей укол в бок шприцем для морфия. После этого приблизился высокий старик — Иоанн. Он укрепил на носу свои золотые очки, взял операционный нож и нагнулся над пациентом. Я не могу объяснить быстроты опе-

рации, но в один момент лицо обезьяны обратилось в бесформенную красную массу.

Я отвернулся из-за охватившего меня чувства тошнотворного головокружения: так действует на меня вид крови.

Оказывается, что здесь, в моем непосредственном соседстве, находится лаборатория для вивисекций, это внушающее ужас и отвращение учреждение, в котором для филантропических целей мучают славных животных, вполне здоровых и полных жизни, чтобы рискнуть вылечить еще пару хворых людишек. Здесь наука присваивает себе подлежащее оспариванию право, которое, если принять во внимание проливаемую кровь, по-видимому, невозможно оправдать. Потому что, если палач морской свинки безусловно уверен, что он подвергает мучениям невинное и, вероятно, счастливое существо, то спасающий от смерти человека в десяти случаях из двенадцати продолжает существование негодяя или несчастного. По правде сказать, быть обязанным своею жизнью вивисекции — равносильно тому, чтобы питаться живыми существами. Можно быть другого мнения, рассуждая в кабинете у камина, но не находясь в критическом положении, подобном моему, присутствуя при этой омерзительной операции, будучи окруженным тайными опасностями, которые, быть может, способствовали этому преступлению.

Несмотря на то, что эта операция, вероятно, много значила, у меня было недостаточно силы воли, чтобы заставить себя смотреть дальше. Мой взгляд не в с и л а х был оторваться от ствола дерева и карабкающегося по нему красненького с черными точечками на спинке насекомого.

Наконец, я заставил себя обернуться. Слишком поздно! Отражение солнца в стеклах окон было так сильно, что не давало возможности разглядеть, что делается внутри комнаты.

А на дворе собаки снова выползли из своих будок и между ними теперь прогуливалась собака Донифана МакБелля, Нелли. Она кашляла. Ее коротко остриженная шкура ни чем не напоминала теперь густой шерсти сенберна-

ров. Великолепная собака превратилась в тощий одер, голодный вид которого производил еще более странное впечатление рядом с его откормленными товарищами. На затылке Нелли тоже находилась повязка. Что ей устроил Лерн, чтобы заставить ее мучиться с той ночи, когда у них произошла схватка? Что за дьявольский опыт он произвел над ней?..

Казалось, что собака размышляет об этом самом, до того ее походка была уныла. Она держалась в стороне от остальных собак и, когда какой-то ретивый бульдог, задрав хвост, подбежал к ней объясняться в любви, она посмотрела на него так свирепо и так ужасно взвыла, что тот отлетел, как ошпаренный, и забился в свою будку, тогда как вся свора, как один человек, подняла в смущении свои замаскированные головы.

Добродетельная Нелли продолжала свой путь.

Чего я здесь торчал? Несмотря на страстное желание укоротить свои исследования и поторопиться к другому времяпрепровождению, что-то меня удерживало... что-то необъяснимое в поведении собаки, чего я никак не мог понять.

В этот момент я услышал мотив марша, донесшийся на крыльях ветра из Фонваля. Мои пальцы машинально выстукивали мотив на ветке дерева, и я заметил, что Нелли ускорила свой шаг и пошла в такт музыке.

Я вспомнил, как Эмма рассказывала о собаке, что она умела проделывать всякие цирковые штуки. Что же, это тоже была одна из цирковых штук, которым Мак-Белль научил свою собаку?.. Я был уверен, что в отсутствие дрессировщика, собака едва ли может проделывать такие фокусы, и я сомневаюсь, чтобы слуховое впечатление могло вызвать у животного такие машинальные движения, которые всегда были свойственны только нам и являются у нас следствием более сложных привычек, чем инстинкт.

Музыка прекратилась вместе с порывом ветра... Собака села, подняла глаза и... увидела меня... Ах, черт возьми, она залает, подымет тревогу!.. Ничего подобного! Она смотрела на меня без страха, без гнева, но с таким выражением

в глазах... которого я никогда в жизни не забуду. Потом, опустив свою большую голову, она начала тихо, тихо стоять, делая лапой какие-то жесты. Затем она снова стала бродить по двору, все время тихо ворча и поглядывая на меня очень осторожно, точно хотела обратить мое внимание на что-то, не привлекая внимания немцев. (Само собой разумеется, что это просто-напросто описательный прием, но все-таки можно было вообразить, что собака хотела что-то сказать, до того ее жалобный стон модулировал звуки, как слова; получалось впечатление длинной гортанной фразы, в которой все время повторялось: «экбуал, экбуал». Все вместе напоминало что-то вроде плохо произносимого английского языка).

Появление трех помощников на месте действия прекратило это явление. Они шли через двор, и все собаки, во главе с Нелли, спрятались. Вильгельм, проходя мимо псарни, бросил туда сквозь решетку кусок покрытого кожей с волосами мяса. Кусок тяжело шлепнулся: это была мертвая обезьяна. Немцы вошли в правый дом, из трубы которого вскоре появился дымок.

Тогда одна за другой собаки подошли и стали обнюхивать шимпанзе. Бульдог первый вонзил в него зубы и тотчас же началась свалка; слышно было только глухое и злобное ворчание дерущихся из-за пищи псов. Одна только Нелли лежала на пороге своей будки, положив голову на скрещенные лапы, и смотрела на меня своими прекрасными глазами. Мне показалось, что я открыл причину ее худобы.

После этого в правом здании открылось окно; там я увидел стол, накрытый на три прибора. Дядины помощники собирались завтракать как раз напротив моего дерева. Пора было убираться отсюда.

Тут я совершил непростительную оплошность. Мне следовало бы обязательно отправиться расследовать вопрос о старом башмаке, — это ясно даже младенцу. А я уговорил себя, что сделал громадные уступки своему разуму, приняв всевозможные меры предосторожности; что старый башмак имеет массу шансов для того, чтобы быть просто-на-

просто старым башмаком, а вовсе не трупом, и даже незакопанной ногой; и, наконец, что для великодушного сердца прекрасная женщина должна быть важнее всякой чепухи и, вообще, всего на свете.

И вот, обманывая самого себя всеми этими рассуждениями, я направился в замок.

---

Комната тети Лидивины служила местом для всякого хлама. Ее можно было принять за гардеробную комнату куртизанки. Несколько ивовых манекенов, одетых в очень изящные платья, представляли сборище кокетливых женщин без голов и без рук. Камин и столики были превращены в выставки модисток; на них лежали те, сделанные из перьев и лент, маленькие или чрезмерно большие штуки, которые превращаются в шляпы только тогда, когда они одеты на голову. На полу стоял целый батальон туфель и ботинок, одетых на колодки. Повсюду валялась бездна женских безделушек. Воздух был пропитан тонким и развратным ароматом — ароматом Эммы.

Бедная моя, милая тетушка, я предпочел бы, чтобы ваша комната была гораздо больше осквернена и чтобы м-ль Бурдише жила в ней, чем слышать, как она смеется в соседней — в комнате вашего мужа; потому что, благодаря этому, у меня рушились все мои иллюзии...

---

При моем появлении Эмма и Варвара остолбенели от изумления. Но молодая женщина сразу поняла, в чем дело, и рассмеялась.

Она завтракала, лежа в кровати. Одним движением руки она связала в узел свои огневые волосы и сделала себе



прическу вакханки. Я увидел при этом движении всю ее руку сквозь широкий рукав; ее рубашка распахнулась, и она даже не подумала поправить ее.

К кровати был придвинут стол, заставленный графинами и блюдами. Варвара, прислуживавшая своей хозяйке, нарезала ломтики ветчины, розовой, как мрамор. Моей первою мыслью было, что стол и Варвара мне здорово мешают.

Я смотрел на эту белоснежную грудь — вылепленную, казалось, из двойной ласки, — на которой там, где начиналось кружево, намечалось розовое пятнышко.

— А Лерн? — спросила Эмма.

Я успокоил ее: «Он не приедет раньше пяти часов, — я отвечаю за это».

Послышалось ее веселое кудахтанье, которое служило у нее признаком радости, а Варвара, в приливе преданности, обрадовалась так шумно и демонстративно, что вся ее фигура приняла в этом участие и все ее прелести радовались каждая отдельно и независимо от других.

Была половина первого. В нашем распоряжении было около четырех часов. Я намекнул, что этого было очень мало... Но Эмма сказала:

— Давай позавтракаем! Хорошо? Мышонок!

Так как более интересным в данный момент нельзя было заняться из-за стола и Варвары, то я уселся напротив нее.

— Как вам будет угодно! Но поскорее, в таком случае! — ответил я просительным тоном.

Она пила. Смутное выражение согласия было заглушено стаканом и приняло вид смешного ворчания; а взгляд ее, над хрустальным полукругом, принял насмешливый и дразнящий оттенок.

Она сама своими белыми руками, с накрашенными ногтями, накладывала мне на тарелку кушанья.

Я не мог ни говорить, ни есть. Ничего не лезло в рот, и я не мог выговорить ни одного слова. Эрос душил меня.

Эмма!.. Мы мерили друг друга глазами. В ее взгляде было много обещаний и немало иронии. Она ела спаржу так,

точно целовала кого-то. По временам, когда она нагибалась, то, что я видел, до того действовало на меня, что все мое существо трепетало и задышалось от волнения.

— Эмма!..

Но она уже выпрямилась и сидела, смеясь во все горло, почти голая, радуясь своей красоте, точно громадному счастью, и никогда я не видал, чтобы инстинктивное сознание своей неотразимости выражалось так непосредственно и ярко.

Нет! Мне окончательно не хотелось есть: я не мог проглотить ни кусочка; я решил ограничиться тем, что стану наслаждаться видом Эммы, не настаивая больше ни на чем. Она ела не торопясь, издеваясь надо мною, как я думаю, с определенной целью довести мою страсть до пароксизма.

Наслаждалась она едой, как лакомка. До сих пор мне еще не удавалось так удобно рассмотреть ее. То, что она показывала в этой теплой, надушенной комнате, было, на мой взгляд, удивительно совершенно и вызывало неотразимое желание познакомиться со всем остальным. При более интимных сношениях, как говорят, скрытые прелести, обыкновенно, соответствуют тому, что мы видим до них; я развлекал себя тем, что, разбирая то, что вижу, рисовал себе то, что было скрыто от меня. У Эммы был небольшой, миленький носик; ярко-пунцовые, полные губы украшали небольшой узкий рот, который, даже молча, — молчание, полное содроганий, улыбок и выразительных гримасок, — обещал многое...

Она потянулась. Батист рубашки обрисовал тонкую, гибкую талию и очаровательные округлости...

Стол пошатнулся от движения, которого я не мог сдерживать. Ягодка земляники упала в чашку с молоком.

— Убери все это и уходи, Варвара, — сказала Эмма.

Когда служанка ушла, она закуталась в одеяло, точно озябла. На лице ее я прочел такое выражение, точно она узнала приятную новость.

Я убежден, что даже сам Эрос поменялся бы со мною своей бессмертностью в обмен на ту минуту, которую я пережил после этого.

Но Эмма оставалась неподвижной и безжизненной дольше, чем это случается обыкновенно. Ее застывшее в неподвижности тело беспокоило меня своею бледностью, и мне не удавалось разжать ей губы, чтобы влить в рот каплю воды.

Я собирался звать на помощь, когда короткая судорога встряхнула ее. Она глубоко и тяжело вздохнула, в то же время открыла глаза и снова вздохнула, но уже со слабой ласковой улыбкой на устах... Казалось, что ее сознание бродит все еще где-то далеко; она смотрела на меня все еще откуда-то издали, с дальних берегов Цитеры, откуда она возвращалась очень медленно.

Охваченный внезапным припадком целомудрия, я прикрыл одеялом ее совершенную наготу...

Эмма молча наворачивала на палец локон своей огневой шевелюры. Она приходила в себя — она открыла рот, чтобы заговорить... снежная и огневая статуя сейчас оживится и закончит очаровательным словом аккорд очаровательнейшего акта из актов..

И она произнесла:

— Раз старина ничегошеньки не знает, так какого же черта еще надо, не правда ли, миленок?

## VII.

### ТАК ГОВОРIT М-ЛЬ БУРДИШЕ

Эта фраза меня сильно озадачила. Несколькими минутами раньше я бы даже не обратил на нее внимания: с одной стороны, автор и без того совершил немало вульгарных вещей, с другой я знал, насколько мало обоснован был обнаруженный ею страх, чтобы дядя не узнал о нашем поступке... Но вместе с удовлетворением, возвращается наклонность к добродетели и хорошим манерам, приходят угрызения совести и волнения.

Но все же, согласно ритуалу подобных встреч, мы внимательно разглядывали друг друга, разбираясь во взаимных впечатлениях. Наши физиономии вполне отвечали тому, что вот уже тысячи лет как повторяется: на ее лице отражалась ни на чем не основанная благодарность; на моем можно было прочесть смешное и глупое выражение гордости. Молчание моей говорящей на аргю Киприды было чрезвычайно приятно. Мне очень хотелось, чтобы оно продолжалось как можно дольше. Но она нарушила его. К счастью, точно так же, как ряса часто одевает настоящего монаха, содержание речи может исправить тон ее; поэтому и ее выражения приняли более умеренный и менее вульгарный оттенок благодаря тому, что ей пришлось говорить о серьезных вещах, которые с некоторого времени и меня стали беспокоить. Она продолжала речь на ту же тему:

— Видишь ли, мой малыш, — сказала она, — раз мы уже дошли до этого, то, право, бесполезно стараться, чтобы это не повторялось. Но, умоляю тебя, будь благоразумен; надо избегать неосторожных шагов. Ради Бога, будем встречаться только тогда, когда не может быть даже намека на опасность. Лерн, видишь ли... Лерн... Ты даже не подозреваешь

того, что нам может грозить... что т е б е угрожает, главным образом, т е б е...

Я увидел, что она переживает в глубине души трагические сцены.

— Но какая опасность мне может угрожать?

— Вот что хуже всего: я сама этого не знаю. Я абсолютно ничего не понимаю в том, что происходит вокруг меня, ничего, ничего... знаю только то, что Донифан Мак-Белль сделался сумасшедшим, потому что я его любила... и что я тебя люблю тоже.

— Ну, послушай, Эмма! Побольше хладнокровия. Ведь мы теперь союзники; вдвоем мы как-нибудь доберемся до истины. Когда ты приехала в Фонваль? И что произошло после этого?

Тогда она рассказала мне свои приключения. Я воспроизвожу ее рассказ насколько могу связнее, для большей ясности его, но, на самом деле, это был, собственно говоря, диалог, во время которого мои вопросы все время возвращали рассказчицу к главной теме, так как она часто уклонялась в сторону и любила останавливаться на никому не нужных и неинтересных подробностях. Кроме того, наш разговор был услажден интермедиями, которые нарушали его самым приятным образом — драма, прерываемая радостными песнями — и по этой, главным образом, причине я отказался от мысли передать его во всех подробностях, чтобы избавить себя от воспоминаний о наслаждениях, от которых я навсегда отказался. Трудно вести последовательную беседу с неумеренной любовницей, особенно когда весь ее костюм заключается в одеяле, и если она обладает странной способностью терять сознание и память всякий раз, как напоминаешь ей о себе.

По временам, какой-нибудь крик или шум прерывал нашу беседу на полуслове или поцелуе. Эмма вскакивала в ужасе, вспомнив Лерна, да и я не мог удержаться от трепета, видя ее безумный страх, потому что достаточно было бы уха или глаза, приложенного к замочной скважине, чтобы мрачный анекдот превратился для меня в ужасную правду.

Волей-неволей, пришлось познакомиться с происхождением и началом карьеры Эммы. Это не касается данного рассказа и вполне определяется фразой: «Как брошенный ребенок превратился в потерянную женщину». Эмма, во время своей исповеди, проявила искренность, которая у другой, менее непосредственной натуры, должна была бы быть названа цинизмом. С такой же откровенностью она продолжала свой рассказ:

— Я познакомилась с Лерном пять лет тому назад — мне было пятнадцать лет — в Нантеле, в госпитале. Я поступила к нему на службу. В качестве сиделки? Нет! Я подралась с подругой, с Леони, из-за Альсида, моего мужчины. Ну так что же? Мне нечего стыдиться этого. Он великолепен. Это великан. Тобой, мой малыш, он мог бы жонглировать. Мой пояс был ему слишком узок, даже как браслет... Словом, я получила удар ножом, недурно нанесенный. Впрочем, суди сам.

Она отбросила одеяло и показала мне треугольный побелевший рубец в паху, — след когтя этой отвратительной Леони.

— Да, да! Можешь поцеловать его! Я чуть не умерла от этого. Твой дядя лечил меня и спас мне жизнь, за это можно поручиться.

В то время твой дядюшка был славный малый и совсем не гордый. Он часто разговаривал со мной. Мне это безумно льстило. Подумай только — главный хирург!.. И он хорошо говорил. Он читал мне нотации насчет моего поведения, точно проповеди в церкви: «Ты вела дурную жизнь, надо перемениться, исправиться» и т. д.. И все это он говорил не с отвращением, а серьезно, и так убедительно, что мне самой мой образ жизни стал казаться отвратительным, и я, на самом деле, собиралась отказаться от кутежей и от Альсида... ну, сам понимаешь, когда больна, то не до увлечений, и кровь успокаивается...

Ну вот, Лерн и говорит мне в один прекрасный день: «Ты здорова. Ты можешь идти, куда хочешь. Но только недостаточно принять решение вести себя хорошо, надо уметь сдержать свое слово. Хочешь поступить ко мне? Ты

сделаешься белошвейкой и будешь работать вдали от твоих старых друзей-приятелей. Но, знаешь, все должно быть по чести».

Меня это ошеломило. Я говорила сама себе: «Ладно, рассказывай. Ты просто нарочно говоришь это, чтобы соблазнить меня. Как только я буду у тебя... прощай платоника. По твоим разговорам до сих пор, я никогда не могла бы этого допустить, но, должно быть, святых больше нет на свете; разве предлагают женщине идти на содержание из любви к искусству?..»

Но все же доброта Лерна, его положение, слава, известного рода шик... трудно объяснимый, все это увеличивало чувство моей благодарности, превращало его в нечто вроде привязанности; ты понимаешь, что я хочу сказать, и я охотно приняла его предложение со всеми последствиями, в которых не сомневалась.

Ну так представь себе — я ошиблась. Оказывается, что святые все-таки существуют. Целый год он меня пальцем не тронул.

Я поехала к нему потихоньку от всех. Мысль о том, что Альсид может меня найти, не давала мне заснуть спокойно. «Не бойся, — сказал мне Лерн, — я больше не работаю в госпитале; я буду работать над открытиями. Мы будем жить в замке, и никто не станет разыскивать тебя здесь».

И в самом деле, он сразу привез меня сюда.

Ах, нужно было тогда видеть замок и парк: садовники, прислуга, коляски, лошади... всего было вдоволь. Я была страшно счастлива.

Когда мы приехали, рабочие оканчивали постройку пристроек к оранжерее и лаборатории. Лерн сам наблюдал за всеми работами. Он все время шутил и без устали повторял: «Вот хорошо будет здесь работать. Вот-то хорошо будет» таким же тоном, как школьники кричат: «Слава Богу, наконец-то каникулы»!

Привезли мебель для лаборатории. Много туда втащили ящиков, и когда все было установлено, Лерн как-то утром уехал в Грей в экипаже для перевозки мебели.

Аллея была тогда еще совершенно прямая. Я, как сегодня, вижу твоего дядю вместе с пятью спутниками и собакой, встречать которых он ездил на вокзал: Донифан Мак-Белль, Иоанн, Вильгельм, Карл, Отто Клоц — ты помнишь, этот большой, черный, на карточке — и Нелли. Шотландец присоединился к немцам в Нантеле. Мне кажется, до того он не был знаком с ними.

Помощники должны были жить в лаборатории, а Мак-Беллю, так же как и доктору Клоцу, отвели комнаты в замке.

Клоца я стала сразу бояться. А между тем, он был красивый и сильный малый. Я не могла удержаться, чтобы не спросить у Лерна, откуда он выкопал этого каторжника. Мой вопрос очень его насмешил: «Успокойся, — ответил он мне, — тебе повсюду мерещатся сообщники господина Альсида. Профессор Клоц приехал сюда из Германии. Это очень уважаемый и почтенный ученый. Это не помощник, а сотрудник, главное предназначение которого — контролировать работу своих соотечественников»...

— Простите, Эмма, — сказал я, перебивая ее, — говорил ли мой дядя в это время по-немецки и по-английски?

— Насколько мне помнится, чуть-чуть. Он ежедневно упражнялся в этом, но без особенных успехов. Он начал говорить на этих языках бегло, ни с того ни с сего, сразу, около года спустя после приезда этих господ. Впрочем, помощники и тогда знали несколько французских слов. Клоц знал больше, даже и по-английски немного говорил. Ну, а что касается Мак-Белля, то он, кроме своего родного языка, ни на каком другом не говорил и не понимал ничего. Лерн мне рассказывал, что очень неохотно согласился принять его в Фонваль, да и то только по настоятельной просьбе его отца, которому непременно хотелось, чтобы молодой студент позанимался некоторое время под руководством Лерна.

— В какой комнате вы тогда жили, Эмма?

— О, рядом с бельевой. Далеко от комнат Мак-Белля и Клоца, — добавила она с улыбкой.

— А как они относились друг к другу, все эти люди?



— На вид они казались добрыми друзьями. Были ли они искренни? Я не думаю этого, и ничего нет невозможного в том, что с самого начала четверо немцев невзлюбили Мак-Белля. Я заметила несколько косых взглядов. Во всяком случае, Донифану нечего было бояться их неприязни, так как он занимался не с ними в лаборатории, а в замке и оранжерее. Впрочем, вначале он был занят, главным образом, изучением французского языка по книжкам... Мы часто встречались, потому что мне приходилось много раз за день проходить по всем комнатам замка. Он был предупредителен, почтителен, конечно, все знаками, и я вынуждена была быть любезной...

Мне кажется, нет, я уверена, что из-за этого и возникла скрытая антипатия между ним и Клоцем. Я скоро заметила это: если они оба прекрасно скрывали свои чувства друг к другу, то Нелли, не способная к притворству, никогда не упускала случая порычать на немца; и на мой взгляд, это было одним из наименьших доказательств того, что в воздухе чувствовалась гроза. Но твой дядя ничего не видел, и я не смела нарушать его покой своими жалобами, да еще неосновательными. Я не смела... а с другой стороны, это соперничество вовсе не было мне неприятно. Несмотря на все данные мною Лерну обещания жить скромно, ревнивое тяготение обоих соперников ко мне, в конце концов, действовало и на меня возбуждающим образом, и я никак не могла сообразить, какова будет развязка, как вдруг наша участь переменялась.

Прошел год с тех пор, как мы там жили. Значит, это произошло четыре года тому назад...

— Ах, — не мог я сдержать внезапного крика.

— Что с тобой?

— Ничего, не обращай внимания. Продолжай.

— Итак, четыре года тому назад, Мак-Белль уехал в Шотландию, чтобы провести несколько недель отпуска у своих родителей. На следующий день после его отъезда, Лерн покинул меня, сказав: «Я еду в Нантель с Клоцем и проведу там весь день».

Вечером Клоц вернулся один. Я спросила у него, где Лерн. Он ответил, что профессор получил важные сведения, потребовавшие его поездки за границу, и что он пробудет в отсутствии дней двадцать. «А где же он?» — спросила я снова. Клоц ответил не сразу: «Он в Германии. Мы будем здесь пока одни, Эмма». Он бесцеремонно обнял меня за талию и пристально заглянул мне в глаза...

Я не могла объяснить себе поведения Лерна, который, заботясь о моей добродетели, бросил меня, не предупредив, на произвол иностранца. «Ну скажите, нравлюсь ли я вам?» — спрашивал меня Клоц, крепко прижав меня к себе, нисколько не стесняясь.

Я уже тебе сказала, Николай, что он был большой и сильный. Я почувствовала тиски его мускулов и почувствовала себя, против своей воли, взятой в плен. «Ну, слушай же, Эмма, будем любить друг друга, не откладывая этого в долгий ящик, потому что скоро я вас покину навсегда, и вы меня больше никогда не увидите».

Я не трусиха. Говоря между нами, я даже была знакома с лаской рук, которые только что убили; я испытала страсть, похожую на убийство; мои первые любовники любили меня, точно резали меня на куски... они были тяжелы на руку и не стеснялись со мной: в их глазах я была жертвой; не знаешь, чего испытываешь больше: страха, или удовольствия. Это неприятно. Но все это пустяки. Ночь, проведенная с Клоцем — страшная ночь. Это было сплошное насилие. Я навсегда сохраню воспоминание об этом ужасе и усталости.

Проснулась я довольно поздно. Его уже не было в комнате, и я никогда больше не видала его с тех пор.

Прошло три недели. Твой дядя не писал, и его отсутствие все еще продолжалось.

Вернулся он совершенно неожиданно. Я даже не видела, как он приехал. Он сказал мне, что, как только вернулся, сразу же отправился в лабораторию. Я увидела его, когда он выходил из нее в полдень. Его бледность огорчила меня. Казалось, что на его плечи свалилась большая тяжесть, и он сгорбился. Он медленно передвигался, точно шел сзади

похоронной процессии. Что он узнал? Что он сделал? Что за переворот произошел с ним?

Я потихоньку стала его выспрашивать. Он говорил с трудом, подбирая слова, с акцентом той страны, из которой вернулся. «Эмма, — сказал он, — я надеюсь, что ты меня любишь?» — «Вы же знаете, мой дорогой благодетель, что и предана нам душою и телом». «Меня интересует только тело. Чувствуешь ли ты себя способной любить меня... по-настоящему?... О, — добавил он насмешливо, — я знаю, я не молод, конечно, но...»

Что ему было ответить? Я сама не знала. Лерн нахмурил брови. «Хорошо, — отрезал он, — с сегодняшнего вечера моя комната будет твоею».

Я тебе должна признаться, Николай, что такой порядок вещей показался мне более естественным. Но я и не подозревала, что Фредерик Лерн может быть таким подозрительным и вспыльчивым, каким он вернулся. Он сжал мне руки до боли, глаза его сверкали странным блеском, и он стал кричать во все горло: «Теперь довольно смеяться! Довольно шуток и всяких штучек! Я прекрасно знаю, что здесь происходило. Я видел, как эти подлипалы приставали к тебе. Но ты теперь принадлежишь исключительно мне. Я освободился от Клоца. А что касается Донифана Мак-Белля, то берегись! Если он будет продолжать в таком же духе, не завидую ему. Берегись!»

Потом Лерн отказал всей прислуге и нанял, вместо всех, одну Варвару. Затем придумал и устроил лабиринт.

В заранее назначенный день Мак-Белль, ошеломленный тем, что лес был перевернут вверх ногами, вернулся, в свою очередь, в замок в сопровождении своей собаки. Лерн пришел к нему, когда он еще и сундуков не разобрал, и довершил его изумление, устроив ему жесточайшую сцену с такими жестами и таким недоброжелательным выражением лица, что у Нелли шерсть встала дыбом и она зарычала, оскалив зубы.

Что должно было быть, то и случилось. Из уважения к возрасту и положению Лерна, мы, наверное, не оскверни-

ли бы его дома, как говорится. Но тут шла речь о том, чтобы отомстить злобному старику, тирану — мы это сделали.

А профессор с каждым днем становился раздражительнее и все менее выносил какие-либо возражения. Он все время находился в невероятно повышенном, возбужденном состоянии, никуда не выходил, работал без передышки; может быть, он и был гением, но что он не был нормален, это не подлежит сомнению. Какие доказательства? Ну хотя бы то, что он терял память. Он забыл бесчисленное число вещей и часто расспрашивал меня о своем собственном прошлом, сохранив точные воспоминания только в том, что касалось науки.

Да, пришел конец веселью! И моему счастью с ним тоже пришел конец. За всякую мелочь, пустяк Лерн ругал меня без конца; при первом подозрении он меня избил. Я не отрицаю, что не в претензии ни за ругань, ни за побои, но только в том случае, если ругают до слез, а бьют до крови, если ругает и бьет меня любимый человек, если кулаки его могучи и, при случае, сумели бы добить до конца. Я заявила своему хилому сокровищу, что с меня довольно одиночества и нищеты: «Я хочу уехать», — сказала я ему. Ах, малыш, если бы ты видел, что тут произошло. Он ползал за мной на коленях и целовал мои ноги. «Как, не может быть! Эмма, останься! Умоляю тебя! Подожди!.. Подожди еще только два года. Потом мы уедем отсюда вместе, и я окружу тебя царской роскошью; я буду богат, очень богат... Потерпи... Я знаю, ты не создана для того, чтобы вечно торчать здесь, как в монастыре. Но, поверь мне, я на пути к грандиозному богатству — и все это для тебя... Подумай, тебе придется провести только два года в скромной мещанской обстановке, чтобы потом всю жизнь вести образ жизни императрицы...»

Я была ослеплена и осталась в Фонвале.

Но годы проходили за годами, срок давно прошел, а роскоши все еще не было. Но я все-таки ждала, зная доверие Лерна к самому себе и своей гениальности. «Не падай духом, — говорил он мне, — мы приближаемся к цели. Все сбудется, как я предсказал: у нас будут миллиарды...» И,

чтобы рассеять мое скверное настроение и наполнить мои досуги, он стал выписывать для меня из Парижа модные платья, шляпы и всякие безделушки по несколько раз в год: «Научись наряжаться, повторяй свою роль и готовься к будущему...»

Так я прожила три года между Лерном и Мак-Беллем: один вел себя со мной грубо, оскорблял меня, потом обожал, как Мадонну, наряжал, как куколку, а другой — ловил меня украдкой, то там, то тут, пользуясь удобным случаем, кушеткой или ковром.

Тут твой дядя предпринял большое путешествие. Он был в отсутствии в течение двух месяцев; на этот же срок он отправил Мак-Белля в отпуск к родителям.

Вернулись они в один и тот же день. Мне кажется, что они условились встретиться в Дьеппе.

Лерн вернулся мрачный, расстроенный: «Надо еще подождать, Эмма». — «В чем дело? Разве что-нибудь не идет на лад?» — «Говорят, что мои изобретения недостаточно усовершенствованы... Но бояться нечего, я добьюсь того, к чему стремлюсь».

Он с новой силой принялся за свои лабораторные опыты.

Снова я перебил рассказ Эммы:

— Виноват, — сказал я, — а Мак-Белль, работал ли он в это время в лаборатории?

— Никогда! Лерн поручал ему ведение работ в оранжерее, в которой он его запирали, мой друг. Бедный Донифан! Как было бы для него хорошо, если бы он не вернулся сюда. Только ради меня он и вернулся из Шотландии. Он объяснил мне это на своем ломаном языке: «Для вас, для вас». Больше он ничего не умел сказать. Для меня? Боже мой! Чем он стал для меня несколько недель спустя?!..

Послушай, вот где начинается сумасшествие.

Зима. Идет снег. После завтрака. Лерн дремлет в кресле в маленьком зале около столовой; во всяком случае, он делает вид, что дремлет. Донифан бросает на меня выразительный взгляд. Делая вид, что он, забавы ради, идет прогуляться по снегу, он выходит в прихожую. Слышно, как

он что-то насвистывает на дворе. Он удаляется. Я иду в столовую, точно для того, чтобы помочь горничной убрать со стола. Через несколько секунд ко мне присоединяется Донифан, вошедший через дверь, которая находится против входа в маленький зал; дверь в зал осталась открытой, чтобы нам слышно было малейшее движение Лерна. Я бросаюсь к нему на шею, он обвивает меня руками. Молчаливый поцелуй...

Вдруг Донифан позеленел. Я слежу по направлению его взгляда... Над ручкой двери, ведущей в маленький зал, прикреплена стеклянная пластинка, знаешь, для того, чтобы на двери не оставалось следов от захвата пальцев, — и в глубине этого темного зеркала я вижу глаза Лерна, которые неотступно наблюдают за нами.

Вот он уже бросился на нас... У меня ноги подкашиваются. Мак-Белль маленького роста. Лерн подмял его под себя. Тот отбивается. Кровь течет. Твой дядюшка озверел — он пускает в ход ноги, ногти, зубы... Я кричу, тащу его за платье... Вдруг он поднимается на ноги. Мак-Белль в обмороке. Тогда Лерн раздражается диким хохотом, взваливает его на плечи и уносит его по направлению к лаборатории. Я продолжаю кричать, и тут мне приходит в голову позвать собаку: «Нелли, Нелли...» Собака прибежала, я ей показываю на удаляющуюся группу, и она бросается вслед за нею в тот момент, когда Лерн исчезает со своей ношей за деревьями. Она тоже исчезает. Я прислушиваюсь, слышу лай Нелли. И вдруг все смолкает — слышно только шуршание падающего за окном снега.

Лерн оттащил меня за волосы. Но после этого ему пришлось целыми днями клясться и уговаривать меня, и нужна была вся сила моей веры в его слова и надежда на блестящее будущее, чтобы я не сбежала при первой возможности.

А он, убедившись воочию, что я не была ему верна, полюбил меня еще жарче.

...Бесконечные дни...

Я почти не смела надеяться, что Мак-Белля постигла та же участь, что Клоца: изгнание. Ни он, ни его собака не

появлялись больше. Наконец, профессор попросил меня велеть приготовить желтую комнату для шотландца. «Значит, он жив»? — необдуманно спросила я. — «Наполовину, — ответил Лерн, — он сошел с ума. Сначала он считал себя Богом, потом Лондонской башней; теперь он воображает, что он собака, завтра, вероятно, он выдумает что-нибудь новое». — «Что вы с ним сделали такое»? — «Милая моя, — воскликнул профессор, — с ним ничего не сделали. Запомни хорошенько мои слова и прикуси язычок, если, кроме вздора, он ничего молотить не может. Когда я унес Мак-Белля после нашей драки в столовой, я сделал это, чтобы полечить его — ведь ты сама видела, что он был в обмороке. При падении он сильно расшиб себе голову; вот происхождение его раны и сумасшествия. Вот и все. Поняла?»

Я замолчала, хотя была убеждена, что если твой дядюшка не прикончил Донифана, то только из боязни ответственности перед его семьей и перед судом.

В тот же день они привели его в замок. Голова его была вся в повязках.. Он меня не узнал...

Но я все же продолжала его любить и навещала его потихоньку.

Он быстро выздоровел, но из-за того, что его держали взаперти, он сильно потолстел. Между Мак-Беллем на фотографической карточке и Мак-Беллем желтой комнаты осталось так мало сходства, что тебе даже и в голову не пришло бы, что это один и тот же человек...

— Эмма, — проговорил я чуть слышно, — возможно ли, что ты ласкала этого идиота?

— Разве любят только за ум? Наоборот, я даже читала в каком-то романе, что Мессалина, бывшая императрицей и страстной женщиной, терпеть не могла поэтов. Мак-Белль...

— Ах, замолчи, ради Бога!

— Дурень, — сказала она, — ведь теперь ты мой возлюбленный, только ты...

— Подлежит большому сомнению, — подумал я. — Ну, скажи, а относительно Клоца ты ничего не знаешь? Что с ним сделал дядя? Ты говорила об изгнании...

— Я все время была убеждена, что он его выгнал. Его поведение перед отъездом и поведение Лерна, когда он вернулся из Германии, убедили меня в этом.

— А у него была семья?

— Мне кажется, что он сирота и холост.

— А сколько времени Мак-Белль пробыл в лаборатории?

— Около трех недель... месяц.

— А его волосы были такого же белокурого цвета до происшедшей с ним перемены? — спросил я, вернувшись к своему первоначальному предположению.

— Ну конечно. Что тебе за мысли приходят в голову?

— А что сделали с Нелли?

— На следующий день после драки, я слышала, как она испускает раздирающие стоны, по-видимому, из-за того, что ее разлучили с хозяином. По словам твоего дяди, она теперь находится в псарне вместе с другими собаками: «на своем настоящем месте», — добавил Лерн. Ей удалось вырваться оттуда только как-то недавно ночью. Может быть, ты слышал это. Бедная Нелли, как она скоро разыскала Мак-Белля... Часто случается, что она воет по целым ночам. Не весело ей теперь живется...

— Скажи же мне, — спросил я, — каково твое мнение, какие выводы ты делаешь из всего этого? Что тут так тщательно скрывают? Где правда? Допускаешь ли ты возможность сумасшествия, как последствие падения и ушиба?

— А почему я знаю? Все может быть. Но я догадываюсь, что в лаборатории проделываются такие отвратительные вещи, при виде которых можно сойти с ума. Донифана туда никогда не пускали. Может быть, он увидел там что-нибудь до того омерзительное...

Я вспомнил о шимпанзе и об ужасном впечатлении, произведенном на меня его смертью. Эмма могла быть права. История с обезьянкой подтверждала ее гипотезу. Но может быть, вместо того, чтобы искать разгадку каждой тайны в отдельности, правильнее было бы перенестись за четыре года тому назад, вернуться к тому критическому времени, когда скопилось столько странных происшествий? Не



вернее ли было исследовать то загадочное время, когда сразу захлопнулось столько дверей, чтобы найти один общий ключ для всех вместе?

Из-под стеганого одеяла высунулась маленькая, белая, розовая ножка и блеснула, как драгоценность на шелке футляра.

— Черт возьми, милая барышня, неужели вы пользуетесь для ходьбы этой маленькой очаровательной штучкой с полированными и накрашенными, как японские кораллы, ногтями? Эта живая и боящаяся щекотки игрушка, пугающаяся кончика усов?.. Какая неосторожность!..

Маленькая ножка вернулась в свое большое саше. Но как ни мила, как ни быстра, как ни очаровательна была эта ножка, она по закону противоречия напомнила мне о другой: о той ноге, которая торчала на лужайке — я был убежден теперь, что там был кто-то зарыт, на этом проклятом кладбище — на этой светлой лужайке.

И вдруг мне показалось, что я нахожусь в потемках, где со всех сторон меня подстерегает опасность или западня.

— Эмма! А что, если мы убежим?

Она отрицательно помотала своей взлохмаченной головкой.

— Мне это уже предлагал и Донифан... Нет! Лерн обещал меня озолотить. Кроме того, в день твоего приезда, он поклялся мне, что убьет меня, если я его обману, или сбегу. Давно уже я знаю, что он может сдержать свое первое обещание, а с некоторого времени я чувствую, что он способен сдержать и второе...

— Действительно, Эмма, когда он нас представлял друг другу, я прочел в твоих глазах безумный страх смерти.

— ...А кроме того, — продолжала она, — мы можем скрыть нашу любовь, но не можем утаить бегство. Нет, нет! Останемся здесь и будем смотреть в оба. Будем осторожны, но не будем терять времени даром!

А так как времени было немного, то мы им и воспользовались.

Был пятый час, когда я покидал мою ненасытную любовницу, чтобы направиться обратно в Грей-л'Аббей. Эмма

не могла проститься со мной: мурлыкая и потягиваясь, как кошечка, она лениво и медленно возвращалась к действительной жизни из страны любовных грез.

## VIII.

### БЕЗРАССУДСТВО

**Я** помчался в Грей во всю прыть. Праздник был в полном разгаре. Развеселившаяся толпа преследовала меня насмешками и ругательствами.

На вокзальных часах было пять часов. Я воспользовался свободным временем, чтобы подготовиться к дядиному осмотру. Мне хотелось, чтобы он легче попал в те сети, которые он сам мне расставил, требуя от меня изготовления составной части, бывшей у меня в запасе в целом виде. Нарядившись в синюю блузу механика, замазав лицо и руки, вытащив из ящика инструменты и перерыв в них все, я вынул слегка новый карбюратор, ударив его в нескольких местах молотком и перепачкав его салом.

Несколько царапин пилкой, проведенных где попало, окончательно придали ему грубый и неотесанный вид вещи, только что вышедшей из кузницы.

Поезд пришел.

Когда Лерн прикоснулся к моему плечу, я был занят притворными усилиями привинтить ввинченный и находившийся на месте болт.

— Николай!

Я обернулся, и дядя мог увидеть перед собой лицо угольщика, которому я придал наиболее угрюмое выражение, какое только мог.

— Я сейчас кончу, — пробормотал я. — Нечего сказать, замечательно остроумную штуку вы придумали!.. Заставлять меня работать впустую!

— Ну что же, можно на нем ехать?

— Да! Я только что пробовал! Вы видите, что мотор теплый!

— Хочешь поставить на место те части, что я увез?

— Сохраните их на память об этом, хорошо проведенном дне, дядюшка... Ну, садитесь на место! С меня довольно торчать здесь...

Фредерик Лерн выглядел расстроенным.

— Ну, не злись, Николай!

— Я и не злюсь, дядюшка!

— У меня есть свои уважительные причины; ведь ты сам понимаешь? Позже... я тебе объясню...

— Как вам будет угодно. Но если бы вы меня лучше знали, то меньше скрывали бы от меня... Впрочем, ваше сегодняшнее поведение вполне отвечает заключенному нами условию. Я был бы неправ, если бы стал жаловаться.

Он сделал неопределенный жест рукой.

— Раз ты на меня не сердишься, все в порядке? Ты, по-видимому, правильно смотришь на вещи.

Очевидно, Лерн предполагал, что обидел меня, и боялся, чтобы я, выведенный его поступком из себя, не решился уехать из Фонваля и не сообщил бы кому следует, что в Фонвале происходит что-то ненормальное, даже не будучи в состоянии разоблачить, в чем дело. Говоря по правде, присутствие в его доме чужого, который имел возможность удрать в любое время, должно было служить причиной постоянного беспокойства для дяди. Мне казалось, что, будь я на его месте, и будь я вынужден принять у себя постороннего из-за родственных отношений, я предпочел бы сделать его, как можно скорее, своим сообщником, чтобы тем самым принудить его к молчанию.

— А в самом деле, кто может поручиться, — думал я, — что дядюшка уже не подумал об этом? Пройдет долгий, мучительный для него период анализа моего характера и полицейского наблюдения за мной до того неопределенного — а, может быть, и воображаемого срока, когда он решится посвятить меня в свою тайну. Не пойти ли мне на встречу его планам? Может быть, он с радостью поторопится открыть мне все и принять меня в число своих учеников, и его тайна объединит учителя и ученика в одном и том же заговоре?..

Я не вижу, почему бы ему быть недовольным моими авансами; потому что, в обоих случаях, говорит ли он искренне или нет, утверждая, что привлечет меня к участию при осуществлении своего большого предприятия, у него только два выхода: или мой отъезд, угрожающий неприятными последствиями в случае моего доноса, или мое сообщничество.

Но Эмма и тайна удерживают меня в замке. Значит, я не уеду.

Следовательно, остается только мое притворное сообщничество, которое обладает тем преимуществом, что даст мне возможность скорее открыть тайну; а кто же, если не Лерн, может помочь мне в этом отношении, раз Эмма ничего не знает, а всякая открытая мною тайна открывает впереди другую, непонятную мне?

Если бы дядюшка был прозорливым дипломатом, то, конечно, не медлил бы с разоблачениями.

Может быть, он к этому и стремится? Но как заставить его поторопиться?..

Я думаю, надо ему намекнуть, что его секреты не испугают меня, даже в том случае, если они преступного характера. Следовательно, надо притвориться человеком решительного характера, которого не пугает близость преступления и который неспособен к доносу, потому что при случае сам не отказался бы от него. Да! Это так! Великолепно! Но где найти проступок, на который Лерн был бы способен и о котором я мог бы сказать, что он вполне естественен, вполне понятен, и что я сам, при первой возможности, готов совершить такой же... Ах, черт возьми! Николай! Да воспользуйся его собственным поведением! Сознайся, что ты знаешь об одном из его достойных глубочайшего порицания поступков, и скажи, что не только одобряешь его, но и все, подобные этому, поступки, и даже готов помогать ему в следующих. Тогда, после такого заявления, он растает и выложит тебе всю правду и ты узнаешь все... Но все же будем действовать с хитростью и подождем, пока дядюшка не будет в хорошем настроении, и не откроет ли нам чего-нибудь старый башмак.

Так я рассуждал по дороге в Фонваль. Удовлетворение моей страсти истощило, по-видимому, мой мозг; я считал, что мои мысли ясны и разумны, но на самом деле я просто был очень утомлен... Ясно видно, как под влиянием таинственной обстановки и среды покушения Лерна, которые до сих пор ни чем не подтвердились, заполняли мои мысли и представлялись мне ужасными и бесчисленными. Я упустил из виду, что он и на самом деле мог вести свои исследования тайком с какой-нибудь промышленной целью и имел полное основание скрывать их, чтобы избежать подделок. В нетерпении удовлетворить свое любопытство и усталый от удовлетворенного чувства, я уговорил себя, что придумал удивительно тонкий план. Я не рассчитал величины подложного признания, которое мне нужно было сделать раньше, чем я получу что-нибудь в обмен.

Подумай я над этим тщательнее, я увидел бы, насколько опасен мой план. Но коварная судьба устроила так, что дядюшка, довольный моим ответом и тем, что я так хорошо понимаю все, совершенно неожиданно проявил необыкновенно хорошее настроение духа. Я решил, что более удачного случая мне никогда не дожждаться.

И я ухватился за него, как ребенок.

По установившемуся обычаю, дядюшка, восхищенный машиной, заставил меня произвести ряд сложных маневров в лабиринте, и я вел свои размышления в то время, как описывал самые разнообразные кривые.

— Колоссально! Николай! Повторяю тебе, что автомобиль — удивительная вещь. Это зверь! Настоящий, великолепно устроенный зверь... наименее несовершенный из всех, может быть... И почему знать, на какую степень прогресса он еще поднимется?.. Сюда бы чуть-чуть доброй воли... искорку жизни... крошечку мозга... и получилось бы великолепнейшее создание на свете. Да, даже лучше нас в одном отношении, потому что, вспомни, что я уже тебе говорил: автомобиль способен к усовершенствованию и бессмертен, — добродетели, которых физические свойства человека, к сожалению, совершенно лишены.

Все наше тело обновляется почти целиком, Николай. Твои волосы (почему, черт его побери, он постоянно говорил о волосах), твои волосы не те, что были в прошлом году, например. Но они появляются снова — другими: темнее цветом, старше и в меньшем количестве, тогда как автомобиль меняет свои органы в каком угодно количестве, и всякий раз молодеет, получая новое сердце, новые кости, установленные более удачно и с большей способностью к сопротивляемости, чем в предыдущий раз.

Так что, и через тысячу лет автомобиль, не переставая совершенствоваться, будет так же молод, как и сегодня, если он во время заместил свои использованные части другими, новыми.

И не говори мне, что это будет не тот же самый, раз все его части заменены новыми. Если бы, Николай, ты возразил мне это, то что же ты должен сказать о человеке, который во время своего бега к смерти — то, что он называет своею жизнью — подвержен таким же р а д и к а л ь н ы м переменам, но в обратном порядке.

Тебе пришлось бы, в таком случае, вывести странные заключения: «Тот, кто умирает пожилым, не тот самый, кем он родился. Тот, кто только что родился и должен прожить очень долгую жизнь, никогда не умрет. Во всяком случае, он не умрет сразу, а постепенно, рассеиваясь на все четыре стороны света в виде органической пыли, в течение долгого промежутка времени, в течение которого так же постепенно и медленно на месте его тела образуется другое тело. Это другое тело, рождение которого неопределимо нашими глазами, развивается в каждом из нас в то самое время, как первое постепенно разрушается, и никто этого не подозревает. Оно заступает место первого день за днем и, изменяясь в свою очередь беспрестанно в зависимости от мириада умирающих и вновь рождающихся клеток, из которых оно состоит, и есть то тело, которое мы увидим умирающим».

Вот какие ты должен был бы вывести заключения, которые некоторым показались бы правильными: эти последние добавили бы: «Правда, что кажется, будто дух остается

неизменным во время этих эволюций тела, но это далеко не доказано, так как, хотя в чертах старика и можно иногда с трудом узнать черты ребенка, но душа иногда так меняется, что мы сами не можем узнать своей собственной. А потом, почему бы и вещество мозга не могло бы возобновляться молекула за молекулой, не нарушая течения наших мыслей, если возможно переменить один за другим элементы в вольтовом столбе, не прерывая ни на секунду электрического тока?»

Да, в конце концов, какую представляет для человека важность, что он из себя представляет, умирая? И какую пользу принесло бы нетленным автомобилям, развитием и усовершенствованиями которых руководит человек, если бы они сохранили неизменными свои составные части навеки? Вот вздор! Разве они стали бы от этого удивительнее; эти железные гиганты и без того почти живые существа.

Уверяю тебя, Николай, что если бы автомобиль каким-нибудь чудом приобрел независимость, человеку оставалось бы только уложить чемодан и исчезнуть с лица земли. Эра его господства пришла бы к концу. На земле наступило бы царство автомобиля, точно так же, как до человека господствовал мамонт.

— Да, но этот повелитель находился бы всегда в зависимости от построившего его человека, — возразил я рассеянно, поглощенный своими расчетами.

— Хорошее возражение, нечего сказать! А разве мы сами не находимся в постоянной зависимости от животных и растений, мясо которых необходимо для поддержки нашего существования?..

Дядюшка был в таком восторге от своих парадоксов, что выкрикивал их во весь голос, нетерпеливо ерзал на своем узком сиденье и размахивал руками, точно вылавливал из воздуха свои мысли.

— Вот уж блестящая была у тебя, племянничек, идея привезти с собой свою машину. Она доставляет мне массу радости и приводит меня в хорошее настроение... Ты должен



будешь научить меня управлять этим зверем. Я сделаюсь вожатым этого мамонта будущего времени... Ха, ха, ха...

Как раз к этому взрыву хохота я окончил свои выводы, и из-за него я и решился на немедленную атаку и совершил — безрассудство.

— Какой вы забавник, дядюшка! Меня радует наше веселое настроение. Я снова узнаю того дядю, с которым расстался пятнадцать лет тому назад. Почему вы не всегда такой? Почему вы не доверяете мне, в то время как я, именно, заслуживаю вашего полного доверия.

— Но послушай, — ответил Лерн, — ты сам знаешь, почему: я во всем доверяю тебе, когда придет время; я твердо решился на это.

— Почему же не сейчас, дядюшка? И я бросился, сломя голову, в бездну. — Послушайте! Ведь вы и я — одного поля ягода. Вы только совершенно не знаете меня. Меня ничем нельзя удивить. И я знаю больше, чем вы можете предполагать. И знайте, дядюшка, я вполне разделяю ваши взгляды, я восторгаюсь вашими поступками!

Дядя рассмеялся, немного удивленный.

— А что ты знаешь, мальчишка?

— Я знаю, что не всегда можно и должно руководиться современными понятиями о правосудии, если затеваешь большое дело. Согрешит ли кто против тебя? Гораздо лучше разделаться с ним самому, и лишение свободы, в таком случае, если даже и не вполне законный, то уже безусловно правильный поступок... Случайное обстоятельство навело меня на эти мысли... Короче говоря, если бы я был Фредериком Лерном, то г. Мак-Белль не обладал бы теперь таким цветущим видом. Повторяю вам, что вы меня плохо знаете.

По тону ответа я сразу понял, что совершил непростительную ошибку. Лерн защищался лукавым тоном:

— Ну, вот еще новости, — сказал он. — Что за богатая фантазия! Неужели ты такой негодяй, какимставляешь себя? Тем хуже, если это правда. Что касается меня, то я на такие компромиссы с совестью не способен, племянничек. Мак-Белль сошел с ума, но я-то тут не при чем!.. Очень до-

сально, что ты его видел — это отвратительное зрелище... Бедняга... Но чтобы я лишил его свободы! Что за выдумки, Николай! Что ты еще придумаешь?.. Но все-таки хорошо, что ты заговорил со мной об этом: это открывает мне глаза на многое. Обстоятельства против меня. Я все ждал улучшения в состоянии больного перед тем, как дать знать его родным, чтобы его печальный вид произвел на них менее гнетущее впечатление... Но, по-видимому, оттягивать это дальше становится слишком опасным; моя безопасность требует этого; рискуя тем, что причинишь им большее страдание, все-таки пора предупредить их. Сегодня же вечером напишу им, чтобы они приехали за ним. Бедный Донифан!.. Надеюсь, что его отъезд рассеет твои позорные подозрения? Ты меня очень обидел и огорчил ими, Николай...

Я почувствовал сильное смущение. Неужели я ошибся? Может быть, Эмма солгала? Или Лерн хотел усыпить мою подозрительность?.. Как бы там ни было, но я совершил грубую бестактность, и Лерн — мерзавец ли он, или же честный малый — несомненно, рассчитается со мной за мое обвинение, все равно — правильно ли оно было, или ложно. Это было полное поражение, и вся моя добыча заключалась в новых сомнениях — относительно правдивости Эммы.

— ...Во всяком случае, клянусь вам, дядюшка, что только случайность дала мне возможность открыть присутствие Мак-Белля в замке...

— Если с л у ч а й н о с т ь даст тебе возможность открыть еще какие-нибудь данные, чтобы оклеветать меня, — ответил мне сурово Лерн, — то не забудь сообщить мне об этом: я немедленно докажу тебе, что я невиновен. Но я надеюсь, что точное подчинение принятым на себя обязательствам помешает тебе помогать с л у ч а ю, который вздумал бы благоприятствовать твоим встречам с сумасшедшими мужчинами... и ж е н щ и н а м и.

Мы приехали в Фонваль.

— Николай, — обратился ко мне Лерн гораздо мягче, — я чувствую к тебе большое расположение. Я желаю тебе

только добра и потому прошу тебя, дитя мое, слушайся меня.

— Он хочет усыпить мою бдительность, — подумал я, — он ласков со мной. Удвоим внимание...

— Слушайся меня, — продолжил он медоточивым голосом, — и будь мне союзником без условий. При твоей сообразительности, ты сам должен был бы понять оттенки моей мысли. Если я не ошибаюсь, день, в который я смогу посвятить тебя во все, уже недалек. Ты сам увидишь своими глазами то великое прекрасное дело, о котором я мечтаю и в котором я уделю тебе место...

А в ожидании этого, раз ты уже посвящен в историю с Мак-Беллем, — ну, вот тебе доказательство доверия, которого ты требуешь, пойдем со мной навестить его; мы сообща решим, достаточно ли он окреп для того, чтобы его можно было повезти по железной дороге и по морю.

Поколебавшись немного, я последовал за ним в желтую комнату.

Сумасшедший, увидев его, выгнул спину и, ворча, отступил в угол с боязливым видом и злым взглядом. Лерн подтолкнул меня вперед. Я задрожал от боязни, что он меня здесь запрет.

— Возьми его за руки. Вытащи его на середину комнаты.

Донифан не сопротивлялся. Доктор исследовал его со всех сторон, но я заметил, что больше всего он интересовался рубцом. По моему глубокому убеждению, он проделал все остальное исследование больного только для того, чтобы ввести меня в заблуждение.

Какой рубец! Точно разрезанный пополам венец, наполовину скрытый под отросшими волосами. Каким падением, каким ударом и об какой пол можно произвести такое поранение?..

— Превосходное состояние здоровья, — произнес наконец дядюшка. — Видишь ли, Николай, в начале заболевания он впадал в бешенство и ссадил себе тело... гм... везде. Через пару недель не останется и следа от этого. Его уже можно увезти домой.

Консультация была закончена.

— Не правда ли, Николай, и ты находишь правильным, чтобы я избавился от него как можно скорее? Скажи мне свое мнение: я придаю ему известное значение.

Я присоединился к его мнению, но такая чрезмерная любезность заставила меня быть все время настороже. Лерн вздохнул.

— Ты прав. Свет ведь так жесток. Я сейчас же напишу. Не будешь ли ты так любезен отвезти мое письмо в Грей на почту? Оно будет готово через десять минут.

Я вздохнул свободнее. Все время, вернувшись в замок, я спрашивал сам себя, выпустят ли меня оттуда, и посейчас меня часто терзают кошмары, перенося на крыльях сна в комнату сумасшедшего и заключая в нее. Нет, решительно, людоед становится благосклоннее и добрее. Располагая моей свободой, имея возможность запереть меня, он сам, по доброй воле, посылает меня за пределы замка на свободу с поручением, так что от меня зависело окончить это бегством! Имело ли смысл воспользоваться разрешением, данным так охотно? Ну, это уж дудки! Я не воспользуюсь им!

Пока Лерн составлял свое послание к родителям Мак-Белля, я пошел побродить по парку.

И мне пришлось натолкнуться на чрезвычайно странный инцидент; по крайней мере, на меня он тогда произвел именно такое впечатление.

Судьба, как уже не раз можно было заметить, беспощадно издевалась надо мной, играя как мячиком, бросая меня то в сторону спокойствия, то доводя до пароксизма волнения. На этот раз она воспользовалась самым пустячным предлогом, чтобы снова перевернуть в моей душе все вверх дном. Будь я совершенно спокоен, я не стал бы наделять таинственными свойствами то, что, может быть, было просто причудой природы; но в воздухе носилось поветрие чудес: они мне грезились повсюду, а кроме того, я никак не мог выбить из головы фразу Лерна, что с о д н я м о е г о п р и е з д а н а с в о б о д е н а х о д и л и с ь в е щ и , к о т о р ы м т а м б ы л о н е м е с т о .

К тому же, то, что я увидел на этот раз в парке — я настаиваю, что это не поразило бы первого встречного в такой степени, как меня, — показалось мне заполняющим тот пропуск в работах Лерна, который я заметил: это как бы замыкало круг его исследований и опытов. Это было очень неясно. Конечно, благодаря этим несвязным данным, у меня на минуту мелькнула мысль о возможности разрешения всех мучивших меня сомнений, но объяснение это было бы ужасно, если бы оно оказалось правильным; да и мысли мои были слишком беспорядочны и нелепы, а главное, недостаточно определенны, чтобы вывести точное заключение. А все же, в течение одной секунды, впечатление было потрясающей силы, и хотя я и пожимал плечами, вспоминая о нем после вызвавшей его сцены, тем не менее я должен сознаться, что во время нее оно довело меня чуть не до агонии. Я восстанавливаю ее.

Решив употребить имевшиеся в моем распоряжении десять минут на то, чтобы отыскать старый башмак, я направился по аллее, трава которой уже блестела от вечерней росы. Предвестник ночи — вечер уже покрывал свою тенью аллеи. Чириканье воробьев слышалось все реже и реже. Кажется, было около половины седьмого. Где-то проревел бык. Проходя мимо пастбища, я насчитал всего четверых животных: недоставало Пасифаи — пегой коровы. Впрочем, это не представляло никакого интереса.

Я решительно пробирався вперед, как вдруг меня заставил остановиться какой-то шум — слышались какие-то выкрики, свист, писк.

Заколыхалась трава.

Я потихоньку, вытянув шею, направился к тому месту, откуда доносились звуки.

Я натолкнулся на повседневно повторяющееся явление: на дуэль, из которой, спокон веков, один из противников должен выйти побежденным, чтобы своим поражением доставить возможность дальнейшего существования победителю, напивав его своим телом — дуэль между птичкой и змеей.

Змея была довольно большой гадюкой, на треугольной голове которой виднелся такой же формы белый след не то от раны, не то от рубца.

Птичка... представьте себе белоголовую славку, но с той значительной разницей, что у нее была совершенно черная головка: должно быть, какая-нибудь разновидность, которую я описал бы менее сложно, если бы был лучше знаком с естественной историей.

Оба чемпиона стояли лицом друг к другу, но — можете себе представить мое недоумение — наступала птичка, а змея отступала. Славка приближалась внезапными прыжками, с большими промежутками времени, без единого взмаха крыльями, двигаясь, точно загипнотизированная: остановившийся взгляд ее глаз горел тем магнетическим огнем, которым горят глаза собаки, делающей стойку, а гадюка неловкими движениями отодвигалась назад, зачарованная неумолимым взглядом своего врага и испуская полужадушенный свист от страха...

— Черт возьми, — подумал я, — свет перевернулся вверх ногами, или я вижу все шиворот-навыворот?

Тут, из желания быть свидетелем развязки, я сделал ошибку, пододвинувшись слишком близко: птичка, заметив меня, улетела, а ее враг скользнул в траву и тоже скрылся из моих глаз.

Но охватившее меня нелепое и беспричинное, тяжелое чувство страха уже проходило. Я пробрал самого себя как следует. У меня ум за разум заходит... Это просто-напросто проявление чувства материнской любви, и больше ничего. Птичка-героиня, защищающая свое гнездо и своих птенцов. Мы до сих пор не знаем, до чего может дойти героизм матерей... конечно, это так, черт возьми! Иначе что бы это могло быть?.. Какой я простак...

— Эй!..

Дядюшка звал меня.

Я вернулся к дому. Но это приключение не давало мне покоя. Несмотря на мои уговоры самого себя, что в нем не было ничего необыкновенного, я ничего не сказал о нем Лерну.

А между тем, профессор был очень ласков; у него был вид человека, принявшего важное решение, которым он очень доволен. Он стоял у главного входа в замок с письмом в руке и внимательно разглядывал железную скобку, вделанную в каменную ступень у входа для вытирания ног.

Так как мой приход не отвлек его от этого занятия, я счел вежливым тоже присмотреться к скобке. Она представляла собой железную полосу, которая от употребления бесчисленным количеством ног превратилась в острый полумесяц. Я думал, что Лерн, задумавшись, машинально смотрит на нее, не замечая этого.

Действительно, он вдруг спохватился, точно внезапно проснулся:

— Вот, Николай, твое письмо. Прости меня, что я тебя так затрудняю.

— Что вы, дядюшка! Я к этому привык: шоферы, кто бы они ни были, всегда исполняют роль посыльных. Злоупотребляя мнением, что автомобилисту всегда приятно прокатиться даже без определенной цели, дамы часто награждают их спешными, а сплошь и рядом и весьма тяжеловесными поручениями. Это установившийся в обиходе налог на спорт...

— Ну ладно, ты славный малый! Поезжай скорее, темнеет.

Я взял письмо — письмо, которое наполнит отчаянием души родных Донифана там, в Шотландии, принеся весть о его сумасшествии, — благословенное письмо, которое удалит от Эммы ее потерявшего человеческое достоинство любовника.

С э р Ж о р ж М а к-Б е л л ь.  
12, Трафальгар-Стрит.  
ГЛАЗГО.  
(Шотландия).

Почерк, которым был написан адрес, заставил меня снова призадуматься. Был только отдаленный намек на почерк Лерна. Но большая часть букв, общий характер почерка

указывали на совсем другого человека, чем тот Лерн, который писал мне раньше.

Графология никогда не ошибается, ее выводы безусловно точны: автор этой надписи переменялся с тех пор с ног до головы.

Но в дни своей молодости дядюшка обладал всеми добродетелями; не был ли он теперь собранием всех пороков?

И как он должен был теперь меня ненавидеть, он, который так сильно меня когда-то любил?..



## IX.

### ЗАПАДНЯ

Отец Мак Белля немедленно приехал за ним в сопровождении своего другого сына.

С тех пор, как Лерн написал ему, в Фонвале ничего нового не произошло. Тайнственные занятия продолжались, а меры предосторожности против меня все увеличивались. Эмма больше не спускалась; я по сухому стуку ее каблучков соображал, что она расхаживает по комнате, где были расставлены манекены с ее платьями.

Я проводил ночи без сна: мысли о том, что там, наверху, проводят ночи вместе садист Лерн и на все согласная Эмма, не давали мне заснуть. Ревность умеет обогащать фантазию: мне рисовались картины, невероятно мучившие меня. Сколько я ни клялся себе, что при первом удобном случае я использую свои фантастические грезы для себя, я никак не мог отделаться от этих эротических видений, и они доводили меня до белого каления.

Как-то я решил пройтись по парку, чтобы успокоить взбунтовавшуюся чувственность, но... выходные двери внизу оказались запертыми... Да, Лерн тщательно меня охранял.

Тем не менее, неосторожность, которую я совершил, сказав ему, что я открыл существование Мак-Белля, не имела других последствий, кроме усиленной любезности с его стороны. Во время наших, более частых теперь прогулок, он показывал, что мое общество ему становится все приятнее, стараясь смягчить суровость моей затворнической жизни и удерживать меня в Фонвале, потому ли, что он на самом деле собирался сделать меня своим компаньоном, или же чтобы гарантировать себя от возможности моего бегства. Против своего желания, я был занят целыми днями. Я терзался от нетерпения. И, думая только о глубине запре-

щенной любви и заманчивости скрытого от меня секрета, я не замечал, что на практике — дикая альтернатива, — если любовь манила меня под видом очаровательной недоступной женщины, то тайна, привлекавшая меня не менее сильно, имела вид не менее недоступного старого башмака.

Эта мерзость на резинках служила основным пунктом всех гипотез, которые я строил по ночам, надеясь отвлечь свои мысли от ревности в сторону любопытства. И на самом деле, этот башмак был единственной осязаемой целью, к которой я мог направить свою любознательность. Я заметил, что избушка с садовыми инструментами находилась недалеко от лужайки, так что при случае было бы легко откопать башмак... и прочее, что там окажется. Но Лерн, надев на меня ярмо своей привязанности, держал меня вдали от башмака, как и от оранжереи, от лаборатории, от Эммы, словом, от всего.

Всеми силами своей души я призывал на помощь какой-нибудь случай, какое-нибудь непредвиденное обстоятельство, которое нарушило бы наш *modus vivendi* и дало бы мне возможность обмануть бдительность моей стражи: поездку Лерна в Нантель, какое-нибудь несчастье, если без этого нельзя обойтись, что бы там ни было, лишь бы мне как-нибудь извлечь из этого пользу.

Этой удачей подарил меня приезд отца и сына Мак-Беллей.

Дядюшка, получив телеграмму о их приезде, сообщил мне об этом с необычайно веселым видом.

Почему он так обрадовался? Неужели и вправду я навел его на мысль об опасности задерживать у себя больного Донифана без ведома его родных? Этому я абсолютно не верил... А, кроме того, смех Лерна, если он был и неpritворным, все же был гаденького характера... источником его могла быть надежда сыграть какую-нибудь скверную шутку.

И все же, несмотря на различие причин, я тоже радовался не меньше профессора, и вовсе неpritворно, ибо у меня была уважительная причина для этого.

Они приехали утром на повозке, нанятой в Грее; кучером был Карл. Они были похожи друг на друга и оба напоминали Донифана, каким я видел его на карточке. Оба держались прямо, были бледны и бесстрастны.

Лерн представил меня очень развязно. Оба пожали мне руку, не снимая перчаток. Казалось, будто и душа у них была в перчатках.

Войдя в маленький зал, они молча уселись. В присутствии всех трех помощников Лерн произнес длинную речь на английском языке, делая широкие жесты и с очень живой, выразительной мимикой. В одном месте своей речи он сделал движение человека, падающего навзничь, поскользнувшись. Затем, взяв обоих за руки, он повел их к главной выходной двери в парк. Мы пошли следом за ними. Там он показал им на скобу, о которую вытирают ноги, и снова повторил движение поскользнувшегося человека. Не подлежало никакому сомнению, что он объяснял, как Донифан получил рану в голову, упав ею на серповидную скобу.

Это было, черт его возьми, здорово придумано!

Все вернулись в зал. Дядюшка продолжал говорить, утирая глаза. Немцы начали громко сморкаться, чтобы скрыть невольные слезы, от которых они будто бы не могли удержаться. Г.г. Мак-Белли, отец и сын, не моргнули глазом: они не выразили ни единым движением ни горя, ни нетерпения.

Наконец, Иоанн и Вильгельм, удалившиеся по жесту Лерна, привели Донифана. Он был свежевыбрит, напояжен, с пробором на боку и имел вид очень шикарного молодого лорда, несмотря на то, что костюм был ему узок и пуговицы еле держались, а слишком узкий воротник душил его и вызывал прилив крови к располневшему лицу. Рубца не было видно благодаря начесанным длинным волосам.

При виде брата и отца в глазах сумасшедшего блеснул сознательный радостный огонек и на губах апатичного до того лица появилась радостная улыбка. У меня мелькнула надежда, что его рассудок вернулся... Но он опустил на

колени и начал лизать им руки, издавая какой-то непонятный лай. Брату не удалось добиться ничего больше. Попытки отца тоже ни к чему не привели. Затем они поднялись, чтобы распрощаться с Лерном.

Дяди заговорил снова. Я понял, что они отказываются от чего-то вроде завтрака или обеда. Дядя не настаивал, и все вышли.

Вильгельм взвалил сундук Донифана на козла повозки.

— Николай, — сказал мне Лерн, — я провожу их до станции. Ты останешься здесь с Иоанном и Вильгельмом. А мы с Карлом вернемся пешком. Я поручаю тебе весь дом, — добавил он весело.

И он крепко пожал мне руку.

Что он, издевался надо мной, что ли? Хороша власть под надзором двух сторожей!

Все влезли в повозку: впереди Карл с сундуком, сзади дядя с сумасшедшим *vis-à-vis* здоровых Мак-Беллей.

Дверца уже захлопнулась, как вдруг Донифан вскочил с лицом, искаженным от ужаса, точно он увидел перед собой смерть, натачивающую свою косу: из лаборатории послышался вой, который можно было узнать из тысячи... Сумасшедший показал пальцем на лабораторию и ответил Нелли таким продолжительным звериным воем, что мы все побледнели от мучительного ужаса и... ждали конца его, как избавления.

Лерн закричал, нахмутив брови, грубым голосом:

— Vorwärts! Карл! Vorwärts! — и, без стеснения, одним грубым толчком усадил своего ученика на скамейку. Повозка двинулась с места. Сумасшедший, упав на место, смотрел вокруг себя испуганным взглядом, точно под ударом непоправимого несчастья.

Мне вспомнился ужасающий Неизвестный. Он бродил вокруг, все ближе и ближе; на этот раз я почувствовал его прикосновение.

Издали вой доносился все громче и протяжнее, г. Мак-Белль почти закричал:

— Но! Nelly! where is Nelly?

Дядюшка ответил:

— Nelly is dead!

— Poor Nelly! — сказал г. Мак-Белль.

Хотя я и был полным невеждой, все же этот примитивный диалог я понял. Ложь Лерна возмутила меня: сметь утверждать, что Нелли умерла! Что это не ее голос! Какое лицемерие! — ах, почему я не закричал этим флегматичным людям: «Остановитесь! Над вами смеются! Здесь происходит что-то страшное...» — да, но вот что происходит, я и сам не знал и Мак-Белли приняли бы меня тоже за сумасшедшего...

А наемная лошадка плелась медленной рысцой и увозила их к воротам, у которых стояла Варвара, чтобы запереть их. Донифан сел на свое место. Против него сидели отец и брат, сохраняя на лицах выражение холодного достоинства; но когда повозка повернулась в воротах, я увидел, как спина внезапно согнувшегося отца задрожала сильнее, чем должна была бы дрожать от встрясок мощной дороги.

Старые скрипучие ворота захлопнулись.

Я убежден, что и брат зарыдал немногим позже.

Иоанн и Вильгельм ушли.

Не собирались ли они избавить меня от своего общества? Я проследил их вдоль пастбища по пути к лаборатории, откуда все еще продолжали доноситься стоны Нелли: они, вероятно, пошли туда, чтобы заставить ее замолчать. И действительно, она замолчала, как только помощники вошли во двор. Но против моего ожидания, они вместо того, чтобы вернуться в замок сторожить меня, закурили сигары и спокойно расположились, по-видимому, для продолжительного отдыха. Сквозь открытое окно их квартиры я видел, как они, сняв пиджаки, расселись в кресла и стали дымить, как океанские пароходы, приготовляющиеся к отходу от пристани.

Когда их планы сделались для меня очевидными, я, ни на секунду не задумавшись, поступаю ли они так против воли Лерна или же по его желанию, за версту от мысли, что они, куря у открытого окна, исполняют шаг за шагом

его предписания — немедленно отправился к хижине с инструментами.

Через несколько минут я уже старательно разрывал землю вокруг старого башмака; впрочем, теперь могу сказать: вокруг ступни.

Она торчала носком кверху в середине воронки, в которой сохранились еще следы от ногтей Донифана, хотя было видно, что и до этого кто-то царапался там. Но по этим старым следам, следам от могучих когтистых лап, видно было, что они были оставлены какой-нибудь огромной собакой, по-видимому, Нелли, в то время, когда ей не запрещалось свободно и без надзора бродить по парку.

За ступней показалась небрежно зарытая нога. Я старался уверить себя, что это остаток анатомического препарата, но тщетно.

Вслед за ногой появился полосатый торс, а затем и остальные части еле прикрытого одеждой трупа, очень плохо сохранившегося. Его зарыли вкось: голова, помещавшаяся ниже ног, еще не была видна. Дрожащими руками я продолжал раскопки, освободил от земли голову и увидел черные до синевы бакенбарды, густые усы и, наконец, все лицо...

Теперь я знал участь всех лиц, которых видел на фотографической группе. Передо мной лежал на глыбе земли наполовину вырытый из могилы Отто Клоц. Я узнал его без всякого труда; незачем было продолжать выкапывать его больше: наоборот — лучше было снова закопать его и постараться изгладить следы моих розысков...

А между тем, я вдруг снова схватился за лопату и начал яростно копать землю рядом с вырытым Клоцем. В земле появилась белая большая кость губчатого строения... Что же... это... такое... значит... тут... еще другие... трупы... О!..

Я рыл и рыл, не отдавая себе отчета; меня лихорадило. В глазах мелькали белые и красные круги, мне казалось, что идет огненный снег...

Я рыл и рыл... и отрыл целое кладбище; но, благодарение Богу, это оказалось кладбищем животных: от одних остались только скелеты, другие сохранили свои перья и

шкурки; морские свинки, собаки, козы, иногда в целом виде, иногда отдельными кусками; по-видимому, остальное послужило пищей для своры; целая лошадиная нога — дорогой мой Бириби, это была твоя нога; и, наконец, под кучей свежевзрытой земли я нашел куски мяса, завернутые в пегую шкуру: останки Пасифаи...

Затхлый приторный запах вызывал тошноту. Измученный вконец, я остановился, опершись на свою оскверненную лопату посреди этой бойни. Пот, кативший с меня градом, попадал мне в глаза. Я задыхался.

В это время я машинально пристально взглянул на лежащий передо мной кошачий череп. Я немедленно поднял его. Великолепная головка для трубки: наверху была вырезана круглая дыра... Я поднял другой череп, кролика, если память мне не изменяет, та же странность; я поднял еще и еще, четыре, шесть, пятнадцать: на всех черепах было такое же отверстие, различавшееся только размером. Везде кругом валялись черепа, зиявшие своими глубокими или плоскими, большими или маленькими, но непременно круглыми отверстиями. Казалось, что все эти животные были прикончены ударами резца, послужив для каких-либо жертвоприношений.

И вдруг мысль. Ужасная мысль.

Я присел у трупа Клоца и стал быстро откапывать голову. Спереди — ничего ненормального; волосы сбиты. Но сзади от виска к виску шел такой же разрез, как и у Мак-Белля...

Лерн убил Клоца... Он уничтожил его из-за Эммы таким же образом, каким он уничтожал животных и птиц, когда они теряли способность дольше переносить его опыты. Оказывается, это было хирургическим преступлением. Я вообразил, что окончательно разоблачил тайну.

— По моему мнению, — думал я, — сумасшествие Мак-Белля происходит вот отчего: оттого, что несчастный видел, какая ужасная смерть ему приготовлена; но почему дядюшка не прикончил его?.. Должно быть, в полном разгаре работы, за которую он принялся, ослепленный бешенством ревности, он вдруг образумился и испугался возможности

ответственности и возмездия со стороны семьи Мак-Беллей... Ключ — тот был сиротой и холостяком, так утверждает Эмма, — и вот почему он здесь... Эта же участь грозит и мне... А может быть, и ей, если он нас накроет вместе... Ах, надо бежать, бежать, чего бы это ни стоило; ей и мне остается только бегство. Как раз судьба нам благоприятствует. Представится ли еще такой случай? Нужно сейчас же уйти и добраться до вокзала сквозь лес, чтобы избежать встречи с Лерном и Карлом, возвращающимся по прямой дороге... А лабиринт?.. Может быть, воспользоваться автомобилем и проехать по их телам, если они попробуют поемешать нам. Я сам не знаю... Там видно будет... Но удастся ли мне вовремя добраться до Эммы? Скорее, ради Бога, скорее.

Я помчался во всю прыть, и бежал, сломя голову, два раза падал, снова вскакивал на ноги, задыхаясь от боязни опоздать...

Замок... Лерна еще нет: его шляпа не висит на своем обычном месте на вешалке. Первая часть плана была выиграна мною. Вторая заключалась в том, чтобы скрыться до его возвращения.

Я взбежал по лестнице, прыгая через четыре ступени, промчался по коридору, ворвался в гардеробную и оттуда в комнату Эммы:

— Бежим, — сказал я, задыхаясь, — бежим, мой друг!.. Идем скорее. Я объясню тебе по дороге... в Фонвале убивают... Да что с тобой случилось?.. В чем дело?..

Она не сдвинулась с места и стояла, как окаменелая, вытянувшись во весь рост.

— Как ты бледна. Но не пугайся...

Тут, но только в это мгновение, я заметил, что она во власти безумного страха и что ее измученное лицо с перепуганными глазами и обескровленными губами дает мне знак замолчать и указывает на присутствие громадной опасности, тут, совсем вблизи, слишком близко для того, чтобы она могла предупредить меня жестом или словом без того, чтобы насторожившийся враг не отомстил ей.



А между тем, ничего не происходило... Я окинул взглядом мирную комнату. Мне все показалось таинственным: даже воздух казался враждебным — вредной для дыхания жидкостью, в которой я потерплю крушение. Я безумно боялся того, что могло появиться за моей спиной. Я ждал какого-нибудь легендарного появления...

И на самом деле, я убежден, что сверхъестественное появление Мефистофеля из-под пола нагнало бы на меня меньше страха и ужаса, чем мещански естественное появление Лерна из шкафа за моей спиной.

— Ты заставил нас долго поджидать себя, Николай, — сказал он.

Я был потрясен. Эмма упала со всего размаху на пол, свалив стоявшие около нее стулья, и с пеной у рта стала биться в сильнейшем истерическом припадке.

В соседней комнате послышался шум шагов и падение манекенов. Вильгельм и Иоанн бросились на меня.

Схвачен. Связан. Погиб...

Безумная боязнь мучений сделала меня подлецом.

— Дядюшка, — умолял я, — убейте меня сразу. Заклинаю вас. Не мучьте меня. Ну, что вам стоит пулю из револьвера или яду?.. Все что хотите, милый дядюшка, только не надо мучений.

Лерн ничего не отвечал и, иронически усмехаясь, приводил в чувство Эмму, нахлестывая ей щеки мокрым полотенцем.

Я чувствовал, что схожу с ума. Кто может поручиться, что рассудок Мак-Белля не помутился при таких же обстоятельствах и не в такую именно минуту?.. Мак-Белль... Клоц... Звериное кладбище... Я почувствовал, как острая боль пронизывает мой череп от виска к виску... Я галлюцинировал...

Меня понесли вниз, Иоанн держал меня за голову, Вильгельм за ноги.

А что если они просто снесут меня в пустое помещение и запрут там на замок? Что за черт, ведь нельзя же прикончить племянника, как цыпленка!

Они понесли меня по дороге в лабораторию.

Вся моя жизнь, день за днем, пронеслась передо мной в тумане в течение одного биения сердца.

Профессор присоединился к нам. Мы прошли мимо дома, в котором жили немцы, теперь меня несли мимо стены двора. Лерн открыл широкую дверь в левом павильоне, и меня внесли в помещение вроде прачечной, помещавшееся под залом, в котором стояли аппараты. Эта комната была обнажена, как скелет, и вся от полу до самого потолка выложена белыми плитками. Занавес из грубого полотна, подвешенный к железному пруту при помощи колец, разделял это помещение на две равных комнаты. Воздух был пропитан аптечными запахами. В комнате было очень светло. У стены была приготовлена небольшая походная кровать. Указывая на нее, Лерн сказал мне:

— Она давным-давно ждет тебя, Николай...

Затем дядя отдал распоряжение по-немецки. Оба помощника развязали и раздели меня. Всякое сопротивление было бы излишним.

Несколько минут спустя я был комфортабельно уложен в кровать, причем одеяло было натянуто до самого подбородка, и был крепко-накрепко привязан к кровати ремнями. Иоанн остался сторожить меня, сидя верхом на скамейке, единственном украшении этого помещения, суровость которого действовала на меня угнетающим образом. Остальные ушли.

Так как занавес не доходил до конца стены, то я мог видеть в соседнем помещении такую же широкую двустворчатую дверь, выходящую на двор.

Как раз напротив меня я в просвете увидел своего старого приятеля — старую сосну...

Моя грусть усилилась. Во рту у меня было отвратительно, точно я предчувствовал свое будущее разложение. Подумать только, что, может быть, сейчас начнется отвратительная химия.

Иоанн держал в руках револьвер и каждую минуту прицеливался в меня, приходя в восторг от своей превосходной шутки. Я отвернулся от него к стене и, благодаря этому, открыл на глазури плиток надпись, составленную из

бесформенных букв и сделанную — по крайней мере, я так думаю — алмазом кольца:

«Прощай навсегда, дорогой отец. Донифан».

Несчастный! Его тоже укладывали на эту кровать... Клоца тоже... А кто докажет, что дядя до меня ограничился только этими двумя жертвами?.. Но в данный момент мне так мало дела было до этого... так мало...

Приближался вечер.

Над нашими головами ходили взад и вперед быстрыми шагами. С наступлением вечера ходьба прекратилась. Потом Карл, вернувшийся из Грей-л'Аббея, сменил Иоанна у моей постели.

Немного погодя Лерн заставил меня принять ванну, а затем какое-то горькое пойло. Я узнал по вкусу сернокислую магнезию. Не оставалось никаких сомнений: меня собирались изрезать; все это были предвестники операции; всякий знает об этом в наш век аппендицита. Это произойдет завтра утром... Что еще они попробуют надо мной сделать перед тем, как убить меня?..

Я наедине с Карлом.

Я почувствовал приступ голода. Недалеко от меня несчастный птичий двор тоже собирался на покой: шелест соломы, пугливое хлопанье, сдержанный лай... Коровы мычали.

Ночь.

Вошел Лерн. Я был невероятно взволнован. Он пощупал мой пульс.

— Ты хочешь заснуть? — спросил он меня.

— Скотина! — ответил я.

— Хорошо. Я дам тебе успокоительное питье.

Он подал мне его. Я выпил. Оно пахло хлороформом.

Снова я наедине с Карлом.

Кваканье лягушек. Блеск звезд. Восход луны. Появление ее красноватого диска. Мистическое восхождение светила и смена одного светила другим... Все очарование ночи... В своем отчаянии я воссылал к небу забытую молитву, мольбу маленького ребенка, обращенную к Тому, Кто был для

меня вчера — мифом, а сегодня превратился в твердую уверенность. Как мог я сомневаться в Его существовании?!..

И луна бродила по небу, точно ореол в поисках за челом, которое надо увенчать.

Немало времени прошло до того, как я стал засыпать со слезами на глазах...

Я забылся в бреду. Простое жужжанье приняло размеры грохота. Кто-то ходил по соломе. Этот птичий двор выводил меня из себя... Бык ревел. Мне даже казалось, что он ревет все громче и громче. Разве его загоняли с коровами каждый вечер на двор этой странной фермы?.. Впрочем... Какая возня и сколько шума, мой Бог!..

Вот какие мысли бродили у меня в голове, когда я, бесповоротно осужденный на смерть или обреченный на сумасшествие, под влиянием наркотического питья, заснул тяжелым искусственным сном, который продолжался до самого утра.

Кто-то тряс меня за плечо.

У кровати стоял Лерн в белой блузе.

Снова я испытал ясное определенное ощущение, что я в разбойничьем притоне.

— Который час?.. Придется ли мне умереть?.. Или ваше дело уже сделано?

— Терпение, племянничек. Дело еще и не начато.

— Что вы собираетесь со мной делать? Вы привьете мне чуму... туберкулез... холеру? Скажите, дядюшка... Нет? Что же в таком случае?..

— Ну, довольно. Полно ребячиться.

Он отошел, и я увидел операционный стол, состоявший из узенькой решетчатой металлической доски на узких козлах — это вызвало в моей душе воспоминание о дыбе в застенке. Сложный набор инструментов и стекло бесчисленных склянок ярко блестели при лучах восходящего солнца. Гигроскопическая вата лежала белой кучей на маленьком столике. Под каждым из металлических шаров, поставленных около стола, горела спиртовая лампочка.

Мое оцепенение было близко к обморочному состоянию.

В соседнем помещении, за занавесью, в настоящий момент закрытой до конца, чувствовалась возня.

Оттуда доносился пронизывающий запах эфира. Тайна! Тайна до самой смерти...

— Что там происходит? — закричал я.

Между стеной и занавесью прошли Карл и Вильгельм, уходя из соседнего помещения, превращенного, благодаря занавеси, в отдельный кабинет. Они тоже были одеты в белые халаты — значит, они тоже принимали участие в операции...

Но Лерн схватил что-то, и я почувствовал на темени холод от прикосновения стали. Я закричал благим матом.

— Болван, — сказал дядя, — это машинка для стрижки волос.

Он выстриг меня, потом тщательно выбрил всю голову. При каждом прикосновении бритвы мне казалось, что лезвие вонзается мне в голову.

Затем снова намылили голову, сполоснули все, после чего профессор нанес на мою плешь при помощи жирного карандаша и какого-то особенного циркуля ряд каббалистических линий.

— Сними рубашку, — сказал он мне, — но будь осторожен, не сотри моих заметок и значков... Ну, а теперь ложись сюда.

Они помогли мне влезть на стол. Меня крепко привязали к нему, причем руки завязали под столом.

Но куда девался Иоанн?

Карл, не говоря ни слова, надел мне на лицо что-то вроде намордника. Мои легкие наполнились испарениями эфира. Почему не хлороформ? — подумал я.

Лерн порекомендовал мне:

— Вдыхай как можно глубже и спокойнее, это в твоих же интересах... Дыши.

Я повиновался.

В руках у дяди длинный тонкий шприц... Ай!.. он уколол меня им в шею. Я с трудом промямлил, так как губы и язык были у меня точно налиты свинцом:

— Подождите... Я еще не заснул... Что это за прививка?.. Сифилис?..

— Просто морфий, — сказал профессор.

Я почувствовал, что впадаю в бесчувствие.

Снова очень болезненный укол в плечо.

— Я не сплю... Ради Бога, подождите... Я еще не сплю...

— Это именно мне и надо было знать, — пробормотал мой палач.

С некоторого времени моя пытка становилась для меня мучительной. Меня утешало сознание, что все приготовления делались для головной операции... А ведь Мак-Белль пережил же трепанацию черепа...

Я углублялся в свою душу. Серебристые колокольчики наигрывали какой-то райский мотив, который я никак потом не мог вспомнить, хотя он казался мне в ту минуту незабываемым.

Снова укол в плечо, почти безболезненный. Я хотел сказать снова, что не сплю, но усилия были тщетны; мои слова звучали глухо, точно потопленные на дне океана; звуки моих слов уже умерли, только я один еще различал их.

Я услышал, как зазвенели кольца занавеси.

И, ничуть не страдая, находясь на пороге поддельной Нирваны, вот что я ощутил:

Лерн делает глубокий надрез от правого виска до левого, нечто вроде незаконченного скальпа, и откидывает весь отрезанный кусок кожи на лицо, так что шарниром служит кожа лба. Если смотреть на меня спереди, у меня голова должна казаться такой же окровавленной и неопределенной, как голова той несчастной обезьяны, которую оперировал Иоанн...

— На помощь... Я не сплю.

Но серебристые колокольчики заглушают в моем сознании мой собственный голос. Прежде всего, мой-то голос где-то на дне морском, а, кроме того, колокольчики теперь звенят страшно громко, точно жужжат громадные шмели... И я чувствую, что теперь я погружаюсь в море эфира...

Живу я еще, или же умер?.. Не знаю... Я чувствую... что  
я мертвец, который сознает, что он умер... даже больше...  
Неизвестность...

## ЦИРЦЕЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Когда я открыл глаза, царствовала полная тьма, не слышалось ни одного звука, в воздухе не носилось больше никаких запахов. Я хотел сказать: «Не начинайте, я еще бодрствую». Но не мог сказать ни одного слова; ночной бред продолжался: мне показалось, что рев приблизился настолько, что я его слышал в самом себе... Не чувствуя себя в состоянии успокоить свои взбудораженные нервы, я лежал неподвижно и безмолвно.

И в моей душе росла уверенность, что таинственная вещь уже свершилась.

Мало-помалу потемки стали рассеиваться. Вместе с излечением от слепоты и остальные чувства стали пробуждаться: звуки и запахи все увеличивались в числе и приближались веселой толпой. Блаженство! Ах, если бы остаться в таком состоянии навсегда!

Но эта агония шиворот-навыворот шла своим путем вперед, независимо от моей воли, и я снова вернулся в жизнь.

Но предметы, которые я теперь различал, были странной формы, не рельефными, и окрашены в странный цвет. Я видел широкое пространство, более широкое, чем раньше: я вспомнил о действии некоторых обезболивающих препаратов на расширение зрачка; по-видимому, этим были вызваны и объяснялись все странности моего теперешнего зрения.

Тем не менее, я без особенного труда констатировал факт, что меня сняли со стола и положили на пол в соседнем помещении; и, вопреки своим глазам, которые функционировали теперь, как изменяющие форму предметов линзы, мне все же удалось разобраться в своем положении.

Занавес был отдернут. Лерн и все его помощники окружали операционный стол и делали там что-то, чего я не



мог рассмотреть из-за их спин — должно быть, приводили в порядок инструменты. Сквозь настежь раскрытые двери виден был парк и не дальше двадцати метров от меня — кусочек пастбища, с которого на нас глядели жующие и мычащие коровы.

Т о л ь к о я должен был бы вообразить себе, что меня перенесли в самую революционную из всех импрессионистских картин. Голубой цвет неба, нисколько не теряя своей прозрачности, превратился в восхитительный оранжевый; трава и деревья казались мне не зелеными, а красными; золотистая ромашка пастбища украшала фиолетовыми звездочками пунцовую траву. Все изменило свой цвет, впрочем, за исключением предметов черного и белого цвета. Черные брюки и белые блузы четырех сообщников не изменились в цвете. Но блузы были забрызганы пятнами... зеленого цвета, на полу были лужи того же зеленого цвета; какая же это могла быть жидкость, кроме крови? И что удивительного в том, что она казалась мне зеленой, раз зелень полей производила на меня впечатление красного цвета?.. Эта жидкость испускала сильный аромат, от которого я сбежал бы, куда глаза глядят, если бы мог пошевелиться. Тем не менее, это не был тот запах, который я привык считать присущим крови... я еще никогда не вдыхал его... так же, как и остальных ароматов этой комнаты... точно так же, как мои уши никогда не воспринимали таких звуков...

И вся эта фантаσμαгория не уменьшалась и ненормальность моих восприятий не испарялась вместе с парами эфира.

Я попробовал стряхнуть с себя охватывавшее меня ощущение, но ничего не вышло.

Я лежал на подстилке из соломы... несомненно, из соломы... но солома была розовато-фиолетового цвета...

Все стояли ко мне спиной, за исключением Иоанна. Лерн, от времени до времени, бросал в лоханку кусочки ваты, окрашенные кровью в зеленый цвет.

Иоанн первый заметил, что я проснулся, и сказал об этом профессору. Тогда по отношению ко мне проявилось

движение общего любопытства, которое вынудило группу, стоявшую у стола, раздвинуться и, таким образом, я получил возможность увидеть, что на столе лежит совершенно голый человек, руки которого связаны под доской стола. Этот человек лежал совершенно неподвижно и был так бледен, что производил впечатление восковой фигуры или мертвеца; черные усики еще больше оттеняли бледность лица, на голове лежала повязка, запятнанная... ну, зелеными брызгами. Его грудь приподнималась равномерно; он глубоко вдыхал и выдыхал, причем при каждом вздохе крылья его носа вздрагивали.

Этот человек — прошло немало времени, пока я пришел к этому заключению — б ы л Я.

Когда я убедился, что вижу это явление не в каком-либо зеркале, — а проконтролировать это было нетрудно, — мне пришла в голову мысль, что Лерн раздвоил меня, и что теперь я — двое...

Но, может быть, я вижу это во сне?

Нет, наверное нет! Но пока приключение не представляло собой чего-нибудь исключительно ужасного; я не умер и не сошел с ума; очевидность этого вывода невероятно подбодрила меня. (Пусть протестуют, сколько хотят, против того, что я всецело владел в тот момент своим рассудком; будущее подтвердило это смелое предположение),

Оперированный пошевелил головой. Вильгельм развязал его, и я присутствовал при пробуждении моего ослабевшего двойника. Раскрыв ничего не видящие глаза, он замотал головой с идиотским видом, нащупал края стола и сел. Он очень скверно выглядел, я с трудом верил, чтобы похожий на меня человек мог выглядеть таким дурнем.

Больного положили на походную кровать. Он не сопротивлялся и позволил ухаживать за собой. Но скоро он стал задыхаться от болезненных позывов к рвоте, и я мог убедиться, что между нами не было никакой связи, так как я нисколько не страдал от мучивших его припадков, — разве только мысленно, и то из вполне понятного чувства сострадания к джентльмену, до такой степени похожему на меня самого.

Ну, однако!.. Похожего?.. Не было ли это просто повторением моего тела? Или, может быть, оно-то и было моим телом... Пустяки!.. Абсурд!.. Я чувствовал, видел, слышал — по правде сказать, очень плохо, но, во всяком случае, достаточно хорошо, чтобы быть уверенным, что у меня есть нос, глаза, уши. Я напряг свои силы и почувствовал, как веревки врезались мне в мускулы: следовательно, у меня есть и тело, волосатое и окоченелое, но все же тело... И мое тело находилось здесь, а не там...

Профессор возвестил, что меня сейчас развяжут.

Вереvoчная сеть разомкнулась. Нетерпение охватило меня. Я вскочил на ноги одним прыжком, и сложное ощущение наполнило мою душу ужасом и поколебало ее. Боже мой, до чего я был маленького роста и как тяжел!.. Я хотел взглянуть на себя: под моей головой ничего не оказалось. С трудом наклонив свою голову еще ниже, я увидел вместо своих ног два раздвоенных копыта на конце кривых, покрытых жесткою черною шерстью ног.

Я хотел крикнуть во весь голос... и из моих уст вырвался ужасный, преследовавший меня всю ночь рев, от которого задрожали стены дома, рев, повторенный дальним эхом скал, окружавших Фонваль.

— Замолчи же, Ю п и т е р, — сказал Лерн, — ты пугаешь бедного Николая, который нуждается в отдыхе.

И он указал на мое тело, поднявшееся в испуге на кровати.

Итак, значит, я стал черным быком. Лерн, этот ненавистный колдун, превратил меня в животное.

Он грубо издевался надо мной. Три мошенника — его помощники — хамски вторили его смеху, держась за бока. Мои бычачьи глаза научились плакать.

— Ну да, — сказал волшебник, точно отвечая на вихрь моих мыслей, — ну да, ты — Юпитер. Но ты вправе знать о себе больше. Вот твоё происхождение. Ты родился в Испании, в знаменитой ганадерии, приходишь от известных родителей, мужское потомство которых уже столько лет умирает храброй смертью, со шпагой в затылке, на песке арен боя быков. Я избавил тебя от бандерилий тореадоров.

Я дорого заплатил за тебя и коров, потому что ваша порода пригодна для моих целей. Ты мне обошелся в две тысячи песет, не считая доставки сюда. Ты родился пять лет и два месяца тому назад; значит, ты можешь прожить еще столько же времени, не больше... если мы дадим тебе умереть от старости. В конце концов, я приобрел тебя, чтобы проделать над твоим организмом некоторые опыты... Пока я проделал только первый.

Тут мой остроумный родственничек должен был сделать передышку, чтобы успокоиться от душившего его смеха. Затем он продолжал:

— Ха, ха, Николай! Как ты себя чувствуешь, а? Я уверен, что не слишком плохо. Твое любопытство, порождение женщины, твое адское любопытство, наверное, поддерживает твоё настроение? Держу пари, что ты больше заинтеригован, чем сердит. Не правда ли, я прав, а?.. Ну, я человек великодушный, и раз теперь ты, мой милый ученик, сделался скромным, то узнай то, что ты так жадно хотел узнать. Разве я тебе не предсказывал: «Приближается момент, когда все узнаешь», и вот, Николай, теперь ты узнаешь все! Да и мне нет никакого удовольствия от того, что меня станут принимать за дьявола, чудотворца или колдуна. Я не Вельзевул, не Моисей и не Мерлин: просто-напросто Лерн. Мое могущество не зависит от внешнего мира, оно всецело исходит от меня, оно мое, и я горжусь этим. Это могущество — мое знание. Самое большее, что могли бы мне возразить, это — что знание — общечеловеческое достояние, что я его использовал самостоятельно, и в данный момент я наиболее подвинувшийся вперед пионер, главный владелец его... Но не будем вступать в препирательства. Повязка не закрывает тебе ушей? Ты слышишь меня?

Я утвердительно мотнул головой.

— Хорошо! Слушай же и не ворочай так изумленно глазами: все объяснится — черт побери; ведь мы живем настоящей жизнью, а не сочиняем роман.

Помощники чистили и клали на место инструменты. Мое заснувшее тело храпело. Притащив ко мне скамейку, Лерн сел рядом с моей головой и заговорил:

— Прежде всего, мой милый племянничек, я был неправ, назвав тебя Юпитером. В узком смысле этого слова я не превратил тебя в быка и ты по-прежнему остался Николаем Вермоном, потому что имя указывает всегда на определенную личность, а это дается душой, а не телом. Так как, с одной стороны, ты сохранил свою душу, а с другой стороны, ты знаешь, что душа помещается в мозг, тебе легко будет, взглянув на этот хирургический набор, вывести заключение, что я самым спокойным образом заместил мозг Юпитера — твоим, а его мозг помещается теперь в твоих человеческих лохмотьях.

Ты скажешь мне, Николай, что это шутка довольно сомнительного характера... Ты не можешь разглядеть сквозь нее ни грандиозную цель моих стремлений, ни цепь исследований и событий, которая привела меня к этому. А между тем, эта маленькая буффонада в стиле Овидия — одно из звеньев этой цепи; но возможно, что она ничего тебе не разъясняет, потому что я занялся этим между прочим. Если хочешь, мы определим ее словами: эскиз художника.

Нет, цель моей жизни представляется мне не в этой форме, забавной и не совсем доброжелательной — ты с этим согласен, не правда ли, — не детской и не имеющей пред собой широкого поля для эксплуатаций социального или коммерческого характера.

Моя цель — это добиться перемещения человеческих личностей — и мои первые шаги на этом пути и были перемещения мозгов.

Ты знаешь мою давнишнюю страсть к цветам. Я всегда предавался с неистовством уходу за ними. В былое время моя жизнь была заполнена исполнением моих хирургических обязанностей, от которых я отдыхал по праздникам, занимаясь целыми днями уходом за цветами и растениями. Ну так представь себе, что любимое занятие повлияло на профессиональное: прививка подействовала на хирургию, и в госпитале меня влекло заняться исключительно

пересадками у животных. Я специализировался в этой области, страшно увлекся ею и в клинике стал испытывать такое же наслаждение, как и в оранжерее. Даже в самом начале своей работы я смутно чувствовал, что между прививками растительного мира и пересадками животного — есть точка соприкосновения, что-то общее, что я определил недавно путем строго логической и последовательной работы... Впрочем, мы к этому еще вернемся.

Когда я пристрастился к опытам с пересадками у животных, эта область хирургии была в полном загоне.

По правде говоря, со времени древних индусов — первых по времени, занимавшихся прививками — этот вопрос не сдвинулся с места.

Но может стать, что ты забыл принципы прививки. Не смущайся этим, я напому их тебе сейчас.

Она основана, Николай, на следующем факте: каждая ткань обладает самостоятельной жизнью, и тело животного представляет собою только среду, приспособленную для жизни каждой ткани в отдельности, среду, которую они могут покинуть, не умирая при этом в течение большего или меньшего промежутка времени.

§ Ногти и волосы отрастают после смерти, — ты это знаешь — значит, они не умирают вместе со смертью животного.

§ Умерший без прямого потомства обладает еще в течение 54 часов после своей смерти главным способом создать себе потомство. К сожалению, он лишен других необходимых для исполнения этого приспособлений. Впрочем, говорят, что повешенные...

Я продолжаю перечисление примеров:

§ При соблюдении известных требований влажности, притока кислорода, температуры, удалось сохранить живыми: отрезанный хвост крысы в течение семи дней; ампутированный палец — в течение четырех часов. В конце этого времени они умерли, но это не мешает тому, что если бы в течение этих семи дней и четырех часов их удачно вернули бы на место, они продолжали бы жить.

Эта процедура была в свое время использована индусами: когда у них, в виде наказания, отрубали носы и сжигали их, то они восстанавливали исчезнувший орган, вырезая кожу со спины самого потерпевшего и прикрепляя ее на место носа, мой милый Николай.

Такая операция является первым шагом в области пересадки органов у животных и заключается в замене одних частей тела другими, взятыми у одного и того же лица.

Второй шаг заключается в том, чтобы соединить двух животных, дав им срастись ранами. В таких случаях можно отрезать часть, прилегающую к ране одного, и она будет продолжать жить на другом.

Третий шаг заключается в том, чтобы перенести часть одного организма на другой непосредственно. Это самый изящный способ: им я и соблазнился. Эти операции считались очень трудными и опасными по целому ряду причин, из которых главная та, что пересадка тем хуже удаётся, чем дальше на ступенях родства объекты, подвергающиеся операции. Пересадка великолепно удаётся на одном и том же животном, на отце и сыне уже хуже, и все хуже и хуже на двух братьях, двоюродных братьях, на двух чужих друг другу людях, на немце и испанце, на негре и белом, на мужчине и женщине и на ребенке и старце.

Когда я выступил на арену, пересадка застряла на зоологических семействах, а между разными классами совсем не удавалась.

А между тем, несколько опытов составляло исключение; я основывался на них, когда захотел свершить самое трудное, чтобы научиться сделать самое простое: привить к рыбе части птицы, или, наоборот, для того, чтобы уметь состряпать составного человека. Я говорю: несколько опытов.

§ Висман пересадил себе на руку перышко чижики, и когда через месяц вырвал его, то образовалась маленькая кровоточившая ранка.

§ Боронию прирастил к гребню петуха крысиный хвост и крылышко чижа.

Нельзя сказать, чтобы это было много, но природа сама подбодряла меня.

§ Птицы постоянно скрещиваются самым бесстыдным образом и получается масса ублюдков; это указывало мне на возможность всяких пересадок в этом мире.

§ Кроме того, если еще дальше отойти от человека, то растительный мир тоже обладает значительной силой сращения.

Вот в коротких словах то положение, которое я застал по интересовавшему меня вопросу, и с какими данными я принялся за работу.

---

Я забрался сюда, чтобы работать без помех.

И почти сразу мне удалось замечательные операции. Они знамениты на весь мир. Особенно одна. Ты, наверное, помнишь ее!

Известный американский миллиардер, король консервов, Липтон, обладал всего одним ухом и хотел во что бы то ни стало получить второе. Какой-то несчастный бедняк продал ему одно из своих за пять тысяч долларов. Церемонии передачи совершил я. Пересаженное ухо скончалось только вместе с Липтоном, два года спустя — от несварения желудка.

Вот тогда-то, когда весь мир аплодировал мне и как раз в то время, как внезапно захватившая меня страсть побуждала меня заработать как можно больше денег для того, чтобы окружить Эмму роскошью, — вот тогда-то и пришла мне в голову моя грандиозная идея, плод следующих размышлений.

Если недовольный своею внешностью миллиардер платит пять тысяч долларов, чтобы немножко приукрасить ее, то каких денег он не заплатит, чтобы совершенно переменить эту внешность и приобрести для себя — для своего мозга — новое тело, грациозное,



молодое и сильное, вместо своего старого, потасканного и отвратительного? А с другой стороны, сколько я знаю субъектов, которые с восторгом отдадут свою великолепную внешность в обмен на возможность прображничать несколько лет.

И заметь, Николай, покупка другого, более молодого тела не только доставляла удовольствие гибкости, горячности и выносливости, но и представляла то громадное преимущество, что органы, перенесенные в более молодую среду, сами молодеют и воскресают. О, не я первый это утверждаю: Поль Берт уже допускал возможность прививки одного и того же органа последовательно нескольким телам по мере того, как каждое из них дряхлело. Так что он предвидел, что при помощи последовательного омоложения можно было дать возможность жить неопределенное время, внутри последовательно менявшихся организмов, одному и тому же желудку, одному и тому же мозгу. Это было равносильно заявлению, что одна и та же личность может существовать неопределенное количество лет, если ее последовательно будут освобождать из отслуживших свое время оболочек.

Открытие превзошло мои самые смелые ожидания. Я не только преследовал в ы б о р с и м п а т и ч н о й в н е ш н о с т и, нет: я д е р ж а л в р у к а х с е к р е т «б е с с м е р т и я».

Так как главным помещением «личности» служит головной мозг, — ты ведь знаешь, что спинной мозг служит только передаточным пунктом и центром рефлексов, то надо было только добиться возможности пересаживать его, переносить с места на место.

Ну, конечно, от пересадки уха до пересадки мозга очень далеко. Но вся разница, в сущности говоря, сводится к ступеням, которые разделяют: 1) хрящеватое вещество от мозгового и 2) побочный орган от главного. Логика поддерживала мою уверенность, тем более что логика основывалась на известных, научно зарегистрированных прецедентах:

1)

§ Кроме прививок слизистой оболочки, кожи, хряща и т. д., в 1861 г., Филиппо и Вюлпиан пересадили нервное вещество в глазном нерве.

§ В 1880 г. Глюк заменил несколько сантиметров бедренного нерва у курицы нервами кролика.

§ В 1890 г. Томпсон вылуцчивает несколько кубических сантиметров мозгового вещества у собак и кошек и заполняет образовавшееся отверстие таким же количеством мозгового вещества других собак и кошек или животных другой породы.

Вот, значит, доказательства того, что переход от хряща к нерву и от уха к мозговому веществу возможен. Теперь перейдем к затруднениям второго рода:

2)

§ Садовники сплошь и рядом прививают целые организмы.

§ Не ограничиваясь пальцами, хвостами и лапами, Филиппо и Монтегацца пересаживали довольно важные органы: селезенку, желудок, язык. Они по желанию могут превратить курицу в петуха. Пробовали пересадить даже поджелудочную и щитовидную железы.

§ Оррель и Гютри в 1905 г. в Нью-Йорке сообщили, что считают возможным заменить вены и артерии человека венами и артериями животных.

Таким образом, мы перешагнули от побочных органов к главным.

§ Наконец, Монтегацца утверждал, что ему удавалось пересадить костный и головной мозг лягушек.

Все эти сообщения вполне определенно указывали мне, что мой проект исполним. Следовательно, я во что бы то ни стало добьюсь своего.

Я принялся за работу.

Меня остановило на первых же шагах препятствие: случилось так, что при отделении мозга от тела погибало либо то, либо другое, а часто и оба, до того, как успеешь соединить их с их новыми спутниками.

Но и тут факты, обнародованные до этого времени, придали мне смелости.

Что касается тела:

§ Животное может прекрасно продолжать жить, обладая только частью мозга. Ты сам видел полет спиралью голубя, лишенного трех четвертей своего головного мозга.

§ Часто случается, что обезглавленная утка улетает на сотни метров от того места, где валяется ее отрезанная голова.

§ Один кузнечик прожил пятнадцать дней без головы. Пятнадцать! Надеюсь, что это доказательный опыт.

Что касается органов, то имелись факты, уже упомянутые раньше.

На основании всего этого, я выводил заключение, что при внимательном уходе тело и мозг *должны* быть в состоянии прожить каждое в отдельности те несколько минут, которые были необходимы для совершения операции.

Как бы там ни было, но медленность производства операции трепанации черепа навела меня на мысль применить принцип перемены головы, вместо того, чтобы менять мозги, так как я знал, что Броун Окар, наполнив отрубленную голову собаки окислороженной кровью, добился того, что эта голова прожила четверть часа самостоятельно.

К этому периоду моих опытов принадлежат созданные мною причудливые существа: осел с головой лошади, коза с оленьей головой; мне было бы приятно их сохранить, так как составлявшие их животные находились на довольно далекой ступени друг от друга и получить их путем скрещивания мне не удавалось, Увы, как раз в ночь твоего приезда Вильгельм оставил ворота открытыми и эти чудища, достойные фигурировать в коллекции «доктора Моро», убежали и скрылись вместе с многими другими, наблюдения над которыми не были еще окончены. Ты можешь похвастать, что попал в Фонваль так же удачно, как болонка попала бы на крокетную площадку в самый разгар игры...

Я продолжаю, но, чтобы избежать переутомления мозга, выздоравливающего после тяжелой операции, я не стану подробно описывать, почему я бросил этот метод, как я изобрел трепан Лерна с круглой пилой, работающий с феноменальной быстротой, шары для хранения мозгов или искусственную мозговую оболочку, мазь для спаивания нервов. Избавлю тебя от описаний пользы от впрыскивания морфия, употребляемого с целью сузить кровеносные сосуды и тем уменьшить количество теряемой при операции крови, от употребления в качестве анестезирующего средства эфира, от методов обработки мозговых полушарий, чтобы они тщательно приходились по размеру предназначенных для них мозговых коробок и т. д., и т. д.

Благодаря всему этому я переместил личности... (я с трудом вспоминаю, как зовут это животное, ах да) ...болонки и вяхиря — это было недурно, — потом славки и гадюки, а затем карпа и черного дрозда: холодная кровь и горячая — это уже было превосходно. В сравнении с этими чудесами, моя главная цель — перемещение человеческих особей — превратилась в игрушку.

Тут Карл и Вильгельм предложили свои услуги для окончательного опыта... Это был классический опыт. Отто Клоц меня покинул... гм... в Мак-Белле я не был уверен, так что мне пришлось оперировать самому с помощью одного Иоанна и автоматических машин.

...Успех! Ах, какие славные ребята... Кому придет в голову, что им ампутировали их тела? А тем не менее, каждый из них с этого дня обитает в телесном жилище своего друга. Посмотри.

Лерн подозвал своих помощников, и подняв волосы на затылке, показал мне темно-багровые рубцы. Оба немца улынулись друг другу, и я не мог удержаться от восхищения их выдержкой.

Дядя снова заговорил:

— Следовательно, мое богатство было обеспечено. Вместе с тем я приобретал славу, счастье Эммы и ее любовь, что я считаю своим самым необыкновенным и дорогим мне счастьем, Николай.

Но мало было сделать открытие, надо было применить его практически.

По правде сказать, одно обстоятельство наводило на меня уныние. Я говорю о влиянии духа на тело и наоборот. Спустя несколько месяцев, оперированные мною изменялись. Если я снабжал тело более развитым мозгом, чем тот, что был в нем раньше, мозг действовал разрушающим образом на тело и, например, свиньи, которым я пересадил мозг собак, делались хилыми, худели и быстро околевали. Наоборот, если пересаженный мозг менее культурен, чем прежний, то он поддается влиянию тела, и составное животное становится все жирнее и глупее. Это роковое, неизбежное правило. А иногда тело обладает настолько могучими инстинктами, что перерабатывает мозг соответственно своим инстинктам: один из моих волков, милый мой, сделал жестоким мозг ягненка, пересаженный в его тело. Но у моих будущих пациентов — у людей — это неудобство не должно было вести к большим переменам характера или здоровья. Это было бы смешно и нисколько не останавливало моих планов.

Не желая оставлять Мак-Белля около Эммы, я отправил его в Шотландию, а сам направился в Америку, в страну решительных людей, миллиардов и замененных ушей, которая казалась мне наиболее подходящей для приведения моих планов в исполнение. Это было два года тому назад.

На следующий день после того, как я высадился на берег, я имел в своем распоряжении тридцать пять субъектов, готовых пожертвовать своими безукоризненными фигурами в пользу тридцати пяти щедрых миллиардеров, которых мне надо было найти, уговорить, уверить и убедить.

Полный провал!

Я начал переговоры с самыми ужасными и худосочными.

Одни приняли меня за сумасшедшего и выгнали вон.

Другие рассердились на меня и, поглядывая на меня косыми глазами, выставя свою впалую грудь или раскачиваясь на своих кривых ногах, удивлялись, что нашелся смельчак, говорящий им, что они некрасивы.

Умирающие были твердо убеждены, что они на пути к выздоровлению. Во всяком случае, в это они верили гораздо тверже, чем в то, что они не умрут под эфиром.

Нашлись такие, которые испугались. «Это значит испытывать долготерпение Божие». Они отскакивали от меня, как от дьявола, и охотно окропили бы меня святой водой... Сколько я им не доказывал, что человек больше меняется в течение своей жизни, чем они изменяются под моим операционным ножом, что религиозная мораль значительно ушла вперед с 1670 года, когда отлучили от церкви одного русского за то, что его череп починили собачьей костью, ничего не помогло.

Многие рассуждали так: «Всякий знает, что он имеет. Почем знать, что получишь взамен?»

Поверишь ли ты? Женщины чуть не спасли меня. Их пришла целая толпа с требованием переделать их в мужчин. К несчастью, мои субъекты, за исключением двух или трех смельчаков, категорически отказались перейти в женское тело.

Отчаявшись в успехе, я попытался соблазнить их заманчивой перспективой вечного существования, так как жизнь возобновлялась бы при повторном перевоплощении: — «Жизнь, — ответили мне семидесятилетние старцы, и так слишком длинна, такая, какою ее создал Бог. У нас только одно желание — умереть». «Но вместе с молодостью я верну вам все желания». «Спасибо! Все наше желание заключается в том, чтобы не быть услышанными...»

Возмужалые люди часто возражали мне: «Очарование приобретенного опыта стоит того, чтобы его не уменьшить, и не стоит портить его из-за стремлений молодого тела и крови юноши».

Все же нашлось несколько последователей Фауста, готовых подписать контракт, который вернет им молодость.

Но все эти набобы представляли мне одно и то же возражение: опасность операции, бессмысленный риск потерять совсем жизнь в погоне за обновлением ее. Видишь ли, Николай, на операцию решались без задней мысли о

смерти только молодые люди, которым нечего было терять и которые знали это.

Сообразив, что надо найти способ доказать полную безопасность операции, я решился продолжать свои опыты, но уже без иллюзий, и зная наверняка, что даже если я этого добьюсь, все же количество пациентов будет очень маленьким, но зная в тоже время, что и этого количества будет довольно, чтобы обеспечить мое богатство и мое счастье. Только и то и другое приходилось отложить в долгий ящик.

Я вернулся в Фонваль, расстроенный, огорченный, с ненавистью ко всему и всем в сердце. Я накрыл Эмму и Донифана; более неумолимого судью трудно было найти — я отомстил. Ты ведь угадал, не правда ли? Вчера оба Мак-Белля увезли с собой мозг Нелли, а душа Донифана заключена в теле сенбернара. За одно и то же преступление вас обоих постигло одно и то же наказание. Соломон не произнес бы более справедливого приговора, а Цирцея не исполнила бы его лучше, чем это сделал я.

Тем не менее, я упорно работал, племянничек, несмотря на твоё нашествие и на то, что наблюдение за твоими поступками отнимало у меня много времени, и я надеюсь через несколько дней сделать первый опыт перемещения личности без хирургического вмешательства.

Представь себе, что я догадался не прерывать занятий с прививками у растений. Я довел их до высокой степени совершенства, и мои открытия в этой области в связи с тем, чего я добился в области зоологических пересадок, почти исчерпывают всю науку о прививках. Комбинируя эти знания с другими, мне кажется, что я нашел то решение, которого добивался. Ученые делают слишком мало обобщений, Николай. Мы влюблены в мелкие единицы, мы увлекаемся бесконечно малыми величинами, у нас мания анализа и мы наблюдаем природу, не отрывая глаза от микроскопа. А между тем, для половины наших исследований надо было бы обладать совсем другим инструментом, показывающим общий вид, инструментом оптического синтеза, или, если ты предпочитаешь — мегалоскопом.

Я предвижу открытие колоссального значения...

И подумать только, что не будь Эммы, я, презирая деньги, никогда не дошел бы до этих открытий. Любовь создала честолубие, а оно приводит к славе... Кстати, племянничек: ты был очень близок к тому, чтобы быть облеченным в тело профессора Фредерика Лерна: да, она с такой силой полюбила тебя, милейший, что я подумывал переодеться в твое тело, чтобы она перенесла свою любовь на меня. Это был бы лучший реванш... и достаточно пикантный! Но мне еще нужна на некоторое время моя ветхая оболочка; у меня еще есть время, чтобы избавиться от этого хлама... А впрочем, разве твоя оболстительная внешность не находится у меня всегда под рукой?

При этих сарказмах я заплакал горькими слезами. Дядя продолжал, притворяясь, что сочувствует мне:

— Ах, я злоупотребляю твоею бодростью, мой милый больной. Отдохни. Надеюсь, что удовлетворение любопытства принесет тебе восстанавливающий силы сон. Ах да, я и забыл: не волнуйся из-за того, что внешний мир кажется тебе другим, чем до сих пор. Между прочим, предметы должны тебе казаться плоскими, как на фотографической карточке. Это происходит потому, что на большую часть предметов ты смотришь одним только глазом. Следовало бы сказать, что у многих животных зрение не стереоскопично. Разные глаза, разные виды; новые уши, новые звуки; все в этом роде, но это пустяки. Даже у людей всякий по-своему оценивает то, что видит. По привычке мы называем определенный цвет «красным», но есть такие люди, которые, называя цвет «красным», воспринимают впечатление «зеленого», — это часто случается — или темно-синего... Ну, спокойной ночи.

Нет, мое любопытство не было удовлетворено. Но, отдавая себе в этом отчет, я не мог вытеснить те пункты, которые дядя обошел молчанием в своем рассказе, потому что величина свалившегося на меня несчастья мutilа мой разум и цирцейская операция оставила после себя неприятное чувство насыщенности парами эфира, которые расстраивали мой человеческий разум и бычачье сердце.



## ХІ.

### НА ПАСТБИЩЕ

За восемь дней, проведенных в лаборатории, в течение которых за мной ухаживали и пичкали всякими лекарствами с целью поскорее поставить на ноги и вернуть здоровье, я переиспытал все, что полагается после таких тяжелых потрясений: припадки отчаяния сменялись полным упадком сил.

Каждый раз, просыпаясь даже после легкой дремоты, я надеялся, что видел все это во сне. Нужно заметить, что ощущения, которые я испытывал при пробуждении, поддерживали мои надежды, но они тотчас же рассеивались. Общеизвестно, что подвергшиеся ампутации какого-нибудь члена терпят сильные мучения и им кажется, что боль сосредоточена в той конечности, которая у них ампутирована и которая кажется им находящейся еще на своем месте. У них болят отрезанные руки и ноги. Если принять во внимание, что у меня болели отсутствующие руки, мои члoвечьи ноги и что эта боль вызывала у меня ощущение, будто мое тело при мне, — то тело, которое у меня ограбили.

Это явление повторялось все реже, все в более слабой степени и, наконец, исчезло.

Но горе и грусть проходили гораздо медленнее. Те писатели, которые описывали эти превращения для забавы других — Гомер, Овидий, Апулей, Перро, — и не подозревали, какой трагедией сопровождалась бы эти явления, если бы они осуществились. В сущности, какую драму переживает «Осел» Люция! Как мучительно прошла для меня эта неделя диеты и принужденной бездеятельности! Чувствуя себя мертвым, как человек, я трусливо ждал мучений вивисекции и скорой старости, которая должна была

принести с собой конец всему... не позже, чем через пять лет...

Несмотря на угнетавшую меня тоску, я выздоровел. Как только Лерн это заметил, меня выгнали на пастбище.

Европа, Атор и Ио галопом помчались ко мне навстречу. Как мне ни стыдно признаваться в этом, но откровенность вынуждает меня отметить тот факт, что они показались мне неожиданно грациозными. Они радостно окружили меня и, как ни боролась моя душа против этого чувства, внушенного мне, должно быть, проклятым спинным мозгом, — я почувствовал себя польщенным. Но вдруг они умчались от меня, должно быть удивленные тем, что не получают ответа на какой-нибудь непонятный мне вопрос или же испуганные каким-нибудь предчувствием.

Долгие дни мне не удавалось приручить их, несмотря на все хитрости, применяемые людьми в таких случаях. В конце концов я подчинил их своей власти энергичными пинками. Это приключение дает обширный материал для философского сочинения и я, пожалуй, охотно бы написал диссертацию на эту тему, если бы такие вставки не нарушали, и совершенно бесцельно, ход рассказа великолепным, но неуместным загромождением.

В данную минуту, раздосадованный приемом моих рогатых дам и интересуясь ими постольку, поскольку мое состояние выздоравливающего и шаткая походка позволяла мне это, я мирно принялся за траву.

Тут начинается очень интересный на первый взгляд период: период моих наблюдений над собой в моем новом положении. Наблюдения эти настолько заинтересовали меня, что мне удалось заставить себя посмотреть на тело быка, как на место для путешествия, как на место временного изгнания, как на неисследованную область, полную всяких неожиданностей, но из которой может случиться, что мне удастся бежать. Потому что достаточно какой-нибудь местности быть не особенно неприятной, чтобы можно было примириться с временным пребыванием в ней.

И пока продолжался этот период приспособления моей человеческой души к оболочке животного, я, право, жил довольно счастливо.

Дело в том, что предо мной совершенно неожиданно открылся, действительно, новый мир, мир примитивных привычек тех, с которыми я пасся. Точно так же, как и глаза, уши и нос посылали моему мозгу неиспытанные до сих пор зрелища, звуки и запахи, и язык мой, снабженный совсем иными сосочками, доставлял мне оригинальные вкусовые впечатления. Животные необычайно тонко воспринимают вкусовые впечатления, так тонко, как нам и не снилось. Изысканная кухня гастронома не даст ему столько радостей двенадцатью переменаами блюд, сколько извлечет бык из небольшого участка луга. Я не мог удержаться от сравнения той пищи, которой я теперь питался, с той, которой наслаждался, будучи человеком. Между кашкой и медункой больше разницы на вкус, чем между жареной камбалой и куском дикой козы под соусом шассер. Для травоядного всякая травка, всякий листочек имеет свою особую прелесть и пикантность: ромашка чуть-чуть пресна, чертополох — наперчен, но все это не может сравниться с ароматным и многообразным для вкуса сеном... Пажить представляет собой всегда прекрасно сервированный стол, за которым постоянно можно удовлетворить самый изысканный вкус самому требовательному гастроному.

Вода постоянно меняется на вкус в зависимости от погоды и времени дня: то она кисловата, то солона, то сладковата, утром прозрачнее и легче, к вечеру тяжелее, сиропообразнее. Я не могу описать всю ее прелесть и думаю, что покойные олимпийцы, составив мстительное и насмешливое завещание, оставили в наследие людям только смех, а остальным животным завещали редкую привилегию наслаждаться амброзией на душистых полях и лугах и нектаром у всех источников.

Я научился наслаждаться жвачкой и понял, почему быки так задумчивы во время пищеварения, так как и сам при-

вык наслаждаться им в то время, как дивный аромат луга дарил меня целой симфонией очаровательных запахов.

Продолжая развивать свои способности и впечатлительность, я испытал странные ощущения... Я сохранил самое лучшее и приятное воспоминание о своем носе — центральном месте своих восприятий: это был безошибочный пробный камень, тонко различавший плохие зерна от хороших, предупреждавший о приближении врага, прекрасный кормчий и советник, нечто вроде властной и настойчивой совести, оракул, отвечающий простым да или нет, никогда не изменяющий, которому всегда охотно подчиняешься. Интересно знать, не доставил ли Юпитеру, когда он превратился в быка, чтобы похитить принцессу Европу, нос быка больше удовольствия, чем все это, в сущности, довольно отвратительное приключение...

Хорошо, впрочем, что я занялся этими наблюдениями, не откладывая их в долгий ящик, потому что скоро целый ряд недомоганий лишил меня необходимого для наблюдений и опытов спокойствия духа. У меня начались мигрени, насморки, заболели зубы — словом, все то, что так привычно для людей XX века. Я похудел. Меня преследовали мрачные мысли. Сначала это было вызвано властью духа над телом, о котором говорил мой дядя, а потом случилось два факта, после которых мое состояние резко ухудшилось.

После довольно продолжительного отсутствия, вызванного, как я думаю, болезнью, последовавшей за ее страшным испугом, Эмма появилась вновь. Без всякого волнения я увидел ее сначала в окне второго этажа, потом в нижнем этаже, а затем и вне замка. Она выходила ежедневно под руку со своей служанкой и прогуливалась по парку, тщательно избегая подойти к лаборатории, в которой Лерн продолжал работать со своими помощниками без устали. Я не думал, что она будет так плохо выглядеть и что глаза ее будут так печальны. Она шла медленно, бледная, с широко раскрытыми, покрасневшими, точно от бессонных ночей, глазами. Во всем ее виде отражался в довольно привлекательном виде траур по погибшей любви и тяжесть

угрызений совести. Итак, значит, она продолжала любить меня и думала, что меня постигла та же участь, что и Клоца, а не Мак-Белля, настоящую судьбу которого она так и не знала. Она могла считать меня или трупом, или беглецом. Правды она не знала.

С каждым днем я все с большим благоговением сопровождал ее, насколько мог. Отделенный от нее колючей проволокой, я пытался делать движения и говорить.

Но Эмма пугалась быка, его скачков и рева. Она ничего не могла понять, так же как и я не понял Донифана, заключенного в тело Нелли. Изредка, когда, пытаясь сделать какой-нибудь человеческий жест, тяжесть моего четвероногого тела придавала этой попытке странный и бессмысленный характер, Эмма забавлялась этим, и слабая улыбка показывалась на ее устах...

И я сам поймал себя на том, что стал проделывать это нарочно.

Так что, мало-помалу, любовь вернула себе утраченные права и снова стала терзать меня.

Но вернулась любовь и привела с собой и ревность. Оттого-то я и стал так быстро терять силы, что муки ревности изводили меня.

Но и ревность явилась не в одиночестве, а сопровождаемая каким-то необыкновенным чувством...

Между пастбищем и прудом находился шестиугольный павильон, тот самый забавный киоск, который я в детстве называл великаном Бриареем. Лерн не постеснялся увеличить мои страдания, поселив в нем мое тело. Я видел, как помощники принесли туда простую мебель, а потом привели это существо... И с этого дня оно не отходило от окна, бессмысленно смотря на меня.

У него отросли волосы на голове и борода. Фигура его разжирела и отяжелела до того, что костюм выглядел на нем точно сшитым в молодости, щеки были толсты и отвислы, глаза — мои глаза, миндалевидной формой которых я так гордился, — округлились и были выпучены, как у быка. Человек с мозгом быка становился похожим внешне на Донифана, только у него было больше зверино-

го и меньше добродушия в выражении лица, чем у того. Мое бедное тело сохранило некоторые свойственные мне привычные жесты: он изредка подергивал плечами — привычка, от которой я никак не мог отделаться, — так что выглядело, точно это отвратительное существо издевается надо мной, стоя за окошком киоска. Очень часто при закате солнца он принимался орать; мой чудный баритональный голос в его устах превратился в бессмысленный и негармоничный крик гориллы. В ответ на его крики раздавался со двора лаборатории болезненный рев бедного, превращенного в собаку Мак-Белля, и я не мог отделаться от непреодолимого желания излить свою тоску и злобу в крике, — и весь Фонваль оглашался дикими звуками этого чудовищного терцета.

Эмма заметила, что в киоске кто-то живет.

Как раз в этот день она шла с Варварой вдоль пастбища. Я, по обыкновению, проводил их до маленькой рощицы, пересеченной дорогой и ждал их выхода с другой стороны рощицы, образовывавшей нечто вроде туннеля, в котором ворковали голуби.

Они вышли оттуда, но внезапно остановились.

Эмма вдруг перевоплотилась. Я увидел ее такой, какой я любил ее видеть: с трепещущими ноздрями, с полузакрытыми дрожащими ресницами глазами, с бурно вздымающейся грудью. Она со всей силы сжимала руку Варвары:

— Николай, — прошептала она. — Николай!..

— Чего? — спросила служанка.

— Да вот там, там!.. Что ж ты, ослепла?..

И в то время, как в густой листве голуби ворковали и ласкали друг друга, Эмма указала Варваре на существо, стоявшее у окна киоска.

Оглянувшись и убедившись, что ее не видно из лаборатории, Эмма сделала ему несколько знаков, послала несколько воздушных поцелуев. Но у владельца моего тела была достаточно уважительная причина, чтобы абсолютно ничего не понять. Он пялил свои круглые глаза, стоял с отвисшей губой и употреблял все находившиеся в его распоряжении меры к тому, чтобы придать моему телу, об ут-

рате которого я так горько сожалел, вид совершеннейшего кретина.

— Сумасшедший! — сказала Эмма. — Этот тоже сошел с ума! Лерн и его свел с ума, как Мак-Белля!

Тут моя славная, милая девушка разрыдалась, и я почувствовал, как гнев закипает в моей крови.

— Только, — посоветовала служанка, — только не вздумайте подойти близко к киоску: его видно со всех сторон.

Эмма отрицательно замотала головой, осушила слезы, легла в позе сфинкса на траву вниз животом, опершись на руки, и долго с любовью смотрела на этого молодца, вспоминая, должно быть, о наслаждениях, подаренных им ей. Стоявшего у окна скота эта поза, по-видимому, заинтересовала гораздо больше, чем предыдущие манеры.

Эта сцена выходила из границ смешного и ужасного! Эта женщина влюблена в мое тело, в котором я больше не находился! Эта женщина, которую я безумно любил, любила животное! Как спокойно примириться с таким положением вещей?.. А я ведь знал, по ее отношению к Мак-Беллю, что страсть Эммы не останавливается перед сумасшествием и что мое тело в теперешнем виде должно было ей еще больше нравиться, потому что оно производило впечатление атлетического...

Я обезумел от ярости. В первый раз испытал власть своего дикого тела. В припадке бешенства, задыхаясь, фыркая, с пеной у рта, я носился по всем направлениям по полю, рыл землю копытами и рогами и чувствовал, как во мне бушует желание убить кого-нибудь... все равно кого...

С этой минуты ненависть наполнила мою жизнь, дикая ненависть к этому сверхъестественному животному, к этому неуклюжему Минотавру, который превратил Броселианду в шутовской Крит с его лесным лабиринтом... Я ненавидел это тело, которое у меня украли, я ревновал к нему, и часто случалось, — когда Юпитер-Я и Я-Юпитер смотрели друг на друга, взаимно тоскуя об утерянных нами телах, что меня снова охватывали припадки неукротимой ярости. Я бросался во все стороны, задрав хвост, с пеной у рта, с диким ревом, с опущенными рогами, готовый растерзать и

жаждущий этого, как жаждут объятия весной. Коровы сторонились и укрывались, как только могли. Все звери и птицы в саду боялись взбесившегося быка; однажды даже проходивший случайно мимо Лерн убежал во все лопатки.

Жизнь сделалась для меня невыносимой тяжестью. Я исчерпал все удовольствия наблюдений, и мое новое помещение ничего, кроме огорчений и неприятностей, не доставляло мне больше. Я медленно угасал. Питание потеряло для меня свой аромат, вода вкус, а общество коров сделалось мне ненавистным. Наоборот, старые привычки воскресли, вернулись и терзали невыносимо: до смерти хотелось поесть мяса и... покурить... Не правда ли, это прямо невероятно! Но были еще обстоятельства, не столь забавные и смешные: я до того боялся лаборатории, что дрожал всякий раз, как кто-нибудь из помощников приближался к пастбищу, а из страха, чтобы меня не связали ночью, во сне, я совершенно перестал спать.

Но и это не все. Я убедил себя, что дальнейшее пребывание моего мозга в черепе жвачного животного сведет меня с ума. Произойдет это из-за припадков неукротимой ярости. Припадки все учащались. А поведение Эммы вовсе не способствовало уменьшению их числа. Наоборот.

И на самом деле, моя прекрасная подруга все чаще бродила вокруг да около киоска, а на лице Минотавра все яснее проступало выражение вождения. По правде говоря, в эти минуты он был вполне похож на человека; вот до чего похоть делает нас похожими на скотов. Эмма смотрела с удовольствием на это жестокое лицо, на котором ни одна черточка не вздрагивала, а глаза горели над пунцовыми скулами; такое же выражение лица я встречал и раньше у людей, предающихся разврату, выражение, которое могло бы привести в смущение самую невинную девушку... Ну разве может быть, чтобы у бога любви было такое лицо, лицо алчного убийцы? И разве можно удивляться, что столько любовниц закрывают глаза при поцелуях этого бога?



Итак, Эмма с наслаждением разглядывала эту мерзкую физиономию и не замечала, как следивший за ней Лерн радостно потирает руки, видя ее ошибку.

Он смеялся! Да, как философ, чтобы не заплакать. Он, по-видимому, понял, что Эмма никогда его не полюбит, и профессор плохо переносил свое разочарование. Он старел день ото дня и убивался за работой.

На террасе лаборатории и на крыше замка установили какие-то машины, управлением которых он был очень заинтересован. Над машинами возвышались характерные мачты, а так как в глубине обоих зданий часто раздавались звонки, то я решил, что это приспособления для беспроводного телеграфа и телефона.

Как-то утром Лерн занялся тем, что заставил проделать ряд эволюций какую-то лодчонку, игрушечную миноноску на пруде. Он управлял ею с берега при помощи аппарата, тоже снабженного небольшой мачтой. Телемеханика! Было совершенно ясно: профессор изучал способы сообщений на расстоянии без посредников. Новый метод для перевоплощения личностей?.. Очень может быть!

Я перестал обращать на это внимание. Счастливый исход моих приключений казался мне теперь несбыточным чудом; следовательно, я не узнаю ни будущего открытия, ни прошлых секретов, которыми была затемнена жизнь моего дяди и его помощников.

А между тем, именно в размышлениях и стараниях разгадать эти последние я проводил бессонные ночи и бездеятельные дни. Но я ничего не мог открыть нового.

Может статься, впрочем, что мой мозг отяжелел, потому что не удержал в памяти, среди повседневных фактов, о которых я только что рассказал, нескольких, которым в своем рассказе Лерн придавал исключительное значение и подробный разбор которых дал бы мне надежду на спасение.

В середине сентября мое избавление все-таки наступило, без того, чтобы я мог его предвидеть, при следующих обстоятельствах.

С некоторого времени платоническая связь Эммы с Минотавром делалась все теснее. Они испытывали все большее наслаждение, разглядывая друг друга.

Чудовище, свыкшееся с моим телом, начало делать жесты. Они носили характер примитивной распущенности.

Что касается Эммы, которую эти жесты орангутанга нисколько не отпугивали, то она усвоила себе тактику наводиться под прикрытием леска. Там, невидимая для всех, кроме этого ужасного разгильдяя, который пародировал меня, как плохой актеришка, она могла, не боясь нескромных взоров, совершенно свободно предаваться той мимике, которой балерины изображают пылкую страсть: выразительным взглядам, воздушным поцелуям, посылаемым розовыми кончиками ее белых пальцев и целому ряду красноречивых кривляний и гримас. По крайней мере, я не хочу иначе истолковывать ее взгляды и телодвижения... Но разве этого было бы недостаточно, чтобы довести это животное до остервенения?..

Да, представьте себе! Эта мерзость случилась!..

Как-то днем, в то время, как я старался подглядеть Эмму, скрывавшуюся в тени леска, откуда она соблазняла поддельного Николая, послышался страшный звон и треск разбиваемых стекол. Минотавр, потеряв терпение, разбил и выскочил в окно киоска. Нисколько не заботясь о моем несчастном теле, он бежал, расцарапанный, растрепанный, обливаясь кровью и ревя страшным голосом.

Мне показалось, что Эмма вскрикнула и хотела убежать. Но дикое существо уже скрылось за деревьями.

Тут я услышал шум топота ног за своей спиной. При звуке разбитых стекол Лерн и его помощники выскочили из лаборатории; они заметили побег и мчались во весь дух к роковому лесу. К несчастью, помощники Лерна боялись моей близости и круг, который им приходилось делать, чтобы избежать встречи со мной, значительно удлинял их путь. Лерн был предприимчивее и бежал напрямик через пастбище, перебравшись через колючую изгородь и разодрав при этом свой костюм. Увы... он был стар и бежал

медленно... Они все прибегут слишком поздно... Это ужасно!.. невыносимо ужасно!...

Нет! Я этого не допущу!

Я со всей силы бросился на изгородь и разорвал ее, не обращая внимания на острия проволоки, вонзившиеся в мою грудь и ноги. Одним прыжком я был в лесу...

Картина, которую я увидел, была достойна того, чтобы ею восторгаться...

Проникавшие сквозь густую листву лучи солнца бросали яркие пятна на зеленый ковер травы. На самом краю дороги лежала бледная, измученная Эмма с закрытыми глазами; платье ее было в страшном беспорядке; по вырывавшимся из полуоткрытого ротика жалобным, нежным стонам и вздохам я безошибочно мог судить о том, что произошло. Ведь так недавно я сам был героем таких же эпилогов. Перед ней стоял, бессмысленно вытаращив глаза, в самом неприличном виде, мой псевдодвойник.

Но я недолго наслаждался этим зрелищем. В глазах у меня засверкали все звезды полночного неба. Кровь ментально закипела у меня в жилах. Неукротимая ярость бросила меня с опущенными рогами вперед. Я ударил что-то, что тут же упало к моим ногам, с размаху пробежал по этому всеми четырьмя копытами, обернулся и стал топтать, топтать, топтать...

Вдруг я сквозь туман услышал задыхающийся голос дяди:  
— Эй, мой друг, остановись, — ты убиваешь самого себя!..

Мое сумасшествие испарилось. Завеса спала с моих глаз. Я увидел:

Красавица, пришедшая в себя, сидела на земле, смотрела широко раскрытыми глазами и ничего не понимала. Помощники следили за мной, спрятавшись за деревья; а Лерн, нагнувшись над моим бледным и истоптанным телом, приподнимал ему голову, из которой сочилась кровь из большой круглой раны.

И это я — я сам — сделал эту непростительную глупость — разрушить свое собственное тело...

Профессор, ощупав и осмотрев раненого со всех сторон, сообщил свой диагноз:

— Одна рука вывихнута; три ребра сломаны; ключица и левая берцовая кость сломаны: от этого оправляются... Но удар рогом в голову будет посерьезнее... Гм... Мозг поврежден — дело плохо. Ему уж никто не поможет. Через полчаса *finita la commedia*...

Я принужден был опереться плечом о дерево, чтобы не упасть. Значит, мое тело, из отечеств — отечество, умрет через полчаса. Все кончено... Изгнанный из своего уничтоженного мною же жилища, я сам же и уничтожил первое и самое главное условие моего избавления. Все кончено... Даже сам Лерн ничего не мог поделать, он сознался в этом... Через полчаса... Мозг поврежден... Но... но... этот мозг... ведь он мог...

Наоборот. Он все мог сделать!..

Я приблизился к нему. На карте стоял мой последний шанс.

Дядя, повернувшись к молодой женщине, грустно говорил ей:

— Крепко же ты должна была его любить, чтобы даже под такой оболочкой он был тебе мил... Бедная моя Эмма, значит, я уж, действительно, совсем тебе не по нраву, если ты мне предпочитаешь даже такого кретина.

Эмма молча плакала, закрыв лицо руками.

— Как она его крепко любит, — повторял Лерн, оглядывая нас поочередно: грешницу, умирающего и меня. — Как она его сильно любила.

Вот уже несколько минут, как я скакал и прыгал около дяди, извлекая из своего горла странные звуки, стараясь передать дяде свои мысли. Но он был всецело занят своими. Не обращая никакого внимания на то, что его мрачный, взволнованный вид таит в себе какую-то скрытую борьбу между его интересами и страстью, я, думая только о неминуемой опасности, предотвратить которую только Лерн в состоянии, удвоил свои выходки.

— Да, твое желание мне вполне понятно, Николай, — сказал наконец дядя. — Ты хочешь сказать, что охотно воз-

вратил бы свой мозг его первичной покрывке, что может ее спасти, так как ты лишил ее возможности пользоваться мозгом Юпитера, который ты уничтожил... Ну, что же... Пусть будет так...

— Спасите его! Спасите его! — умоляла моя прелюбодейная любовница, которая поняла только, что речь шла о спасении. — Спасите его, Фредерик, и я клянусь вам, что никогда больше не буду стараться увидеться с ним...

— Довольно! — сказал Лерн. — Напротив, теперь надо будет любить его всеми силами души. Я не хочу больше тебя огорчать. К чему понапрасну бороться со своей судьбой?

Он подозвал своих помощников и отдал им несколько кратких распоряжений. Карл и Вильгельм подняли и понесли в лабораторию хрипевшего Минотавра. Иоанн отправился туда же бегом.

— Schnell! Schnell! — кричал профессор, — и добавил: — Торопись, Николай, беги за нами.

Я повиновался, но мои чувства раздвоились: я радовался тому, что снова вернусь в свое тело и в то же время боялся, как бы оно не умерло до операции.

Операция удалась блестяще.

Но так как, ввиду спешности ее, я был лишен предварительной подготовки к наркотизации, я под парами эфира пережил хотя и поучительный, но все же мучительный сон.

Мне снилось, будто Лерн, шутки ради, вместо того, чтобы вернуть мне мое тело, заключил мой мозг в тело Эммы. Что за чистилище находится в ее оболочке! Я завидовал тому времени, когда был быком. Мою душу бушевали нервные расстройства и буйные инстинкты, которые не давали мне ни минуты покоя. Вполне естественное желание, сильнее моей воли, руководило всеми моими поступками, и я чувствовал, что мой мужской мозг очень слабо противится ему. Конечно, мне пришлось столкнуться с исключительным темпераментом, хронической болезнью которого было чувство любви, но все же, если внимательно присмотреться к нормальному поведению мужчин и к могуществу власти Венеры над женщинами, сколько бы вышло из вас, мои братья, если бы вы переменились своими мозгами с

женщинами, порядочных девушек и сколько простых потаскушек...

А может быть, что эфир плохой профессор гинекологии и что мои грезы ввели меня в заблуждение. Потому что все это оказалось вздорным кошмаром. Весьма возможно, что и продолжался-то он всего какую-нибудь четверть секунды и был вызван прикосновением зазубрившегося зуба пилки или острия плохо наточенного ланцета.

Пунцовые лучи заходящего солнца освещают прачечную. Опуская глаза, я вижу кончики своих усов.

Это возвращение в жизнь Николая Вермона.

И в то же время это конец существования Юпитера. В глубине комнаты разрубают на куски эту черную массу, в которой я жил. На дворе собаки уже грызутся, оспаривая друг у друга первые куски, брошенные им Иоанном...

Сломанная нога болит... ключица тоже дает себя знать... Я вооружился терпением.

Лерн ухаживает за мной. Он очень радостно настроен. Впрочем, чего же удивляться? Разве он не примирился со своей совестью? Разве он не искупил своей вины предо мной? У меня не хватит даже смелости сердиться на него... Мне даже кажется, что я в долгу перед ним!..

Насколько правдиво изречение, что нет вещи более похожей на благодеяние, чем добровольное исправление причиненного вреда!

## ХП.

### ЛЕРН МЕНЯЕТ СВОИ ПЛАНЫ

**К**огда я был в шкуре быка, я дал себе клятву, если мне удастся принять свой первоначальный вид, немедленно ехать с Эммой или без нее, но бежать во что бы то ни стало. А между тем осень уже приходила к концу, а я все еще не покинул Фонваля.

Происходило это потому, что со мной обращались теперь совершенно иначе, чем прежде.

Прежде всего, я располагал своим временем по своему усмотрению. Я воспользовался этой свободой для того, чтобы немедленно отправиться на лужайку и изгладить на ней всякие следы моего пребывания там. Благоволивший ко мне Бог устроил так, что никто не приходил туда за время моего буколического стажа на пастбище, и ни один из обитателей Фонваля не заметил, что я осквернил кладбище. Но все же было очевидно, что либо переменили место кладбища, либо вивисекции подвергались такие маленькие животные, что от них ничего не оставалось, либо опыты над перемещением личностей были совершенно оставлены дядей.

Между прочим, должен отметить, что, приводя кладбище в порядок, я отметил факт, который снял с моей души большую тяжесть. Я все время боялся, не заключена ли душа несчастного Кюца в тело какого-нибудь тщательно скрываемого животного? Но внимательный и подробный осмотр его трупа рассеял мои сомнения по этому поводу. Мозг мертвеца находился в глубине черепной коробки; даже можно было еще рассмотреть глубокие и многочисленные извилины его. Количество и глубина их несомненно доказывали человеческое происхождение этого мозга, так что, — благодарение небу! — речь могла идти только о простом и невинном убийстве.

Итак, я широко пользовался полной независимостью.

У моей кровати, во время моего выздоровления, сидел и ухаживал за мной раскаивающийся и нежный Лерн, конечно, не тот Лерн, которого я знал в дни своего детства, не веселый, жизнерадостный спутник тети Лидивины — но все же хорошо хоть то, что это уже не был и свирепый и кроважадный хозяин, который принял меня так, как выгоняют.

Когда дядя увидел меня оправившимся, поднявшимся с кровати, он пригласил Эмму и сказал ей в моем присутствии, что теперь я вылечился от временного припадка сумасшествия и что на будущее время ее обязанность заключалась в том, чтобы обожать меня:

— Что касается меня, то я, со своей стороны, отказываюсь от упражнений, не свойственных больше моему возрасту. Эмма, у тебя будет теперь своя комната — рядом с моей; та, в которой теперь хранятся твои вещи. Единственное, о чем я вас прошу, это — не покидайте меня. Внезапное одиночество только увеличит мое горе, которое вы легко поймете и за которое вы оба не станете сердиться на меня. Но это чувство пройдет: я постараюсь забыться за работой... Но не волнуйся, дочь моя: большая часть пользы от моего изобретения достанется все же тебе. В этом отношении ничто не переменилось, и Николай упомянут в моем завещании и все же будет моим компаньоном, несмотря на то, что был им в слишком интимной форме и у тебя. Итак, любите друг друга, и да будет над вами мир.

Сказав это, профессор оставил нас наедине и отправился к своим электрическим машинам.

Эмма ничему не удивлялась. Доверчивая и наивная по натуре, она аплодировала дяде за его тираду. Я, зная, какой он комедиант, должен был бы сказать самому себе, что он одел личину доброты, чтобы удержать меня у себя или потому, что опасался моих разоблачений, или потому, что я ему был нужен для исполнения какого-то нового плана; две цирцейские операции отразились как на моей памяти, так и на способности к рассуждению. «К чему, — уговаривал я сам себя, — к чему сомневаться в этом человеке, который



по своей доброй воле извлек меня из темной пучины? Он продолжает свои благодеяния. Тем лучше».

Тут началась для меня очаровательная, но безнравственная жизнь. Жизнь, полная любви и абсолютной свободы — с одной стороны, и полная трудов и самоотречения, по крайней мере внешнего, с другой. Каждая из сторон старалась быть скромной и сдержанной: Эмма и я в наших излишествах, а дядюшка в своем горе и страданиях.

Кто бы мог поверить в преступность профессора при виде его усидчивого и чисто семейного образа жизни и добродушной внешности? Кто бы поверил, что он заманил меня в засаду? Кто бы поверил в убийство Клоца? В превращение Мак-Белля в Нелли, которая в протяжном вое не переставала поверять свои жалобы всем ветрам и ночным звездам, жалобы на то состояние, ужас которого я сам пережил.

Потому что Нелли все еще помещалась там же. И меня ставило в тупик, что Лерн продолжал наказывать ее за вину, которая потеряла свое первоначальное значение теперь, когда Эмма не занимала больше в его сердце того места, что раньше.

Я решился поговорить по этому поводу с дядюшкой.

— Николай, — ответил он мне, — ты коснулся моего самого больного места. Но что мне делать? Как поступить?.. Для того, чтобы восстановить нормальный порядок вещей, необходимо, чтобы тело Мак-Белля вернулось сюда... Что можно придумать такого убедительного, чтобы заставить отца отпустить к нам Мак-Белля?.. Подумай над этим. Помоги мне. Я клянусь тебе, что начну действовать, не медля ни секунды, как только один из нас найдет способ вернуть сюда Мак-Белля.

Этот ответ рассеял мои последние предубеждения. Я не задумывался над вопросом, почему Лерн ни с того ни с сего так внезапно переменился. Мне казалось, что профессор просто-напросто почувствовал угрызения совести и раскаялся; я ждал, что все его прежние качества постепенно вернуться, как вернулось прямодушие (за это я принимал все его поведение и разговоры), не уступавшее по своей

силе и значению его общепризнанной учености, которая никогда не оставляла его.

А его знания почти не имели границ. Я с каждым днем все больше убеждался в этом. Мы возобновили наши прежние прогулки, и он пользовался всем, что попадалось ему под руку или на глаза, чтобы читать мне целые научные лекции. По поводу валявшегося на земле листочка я выслушал полный курс ботаники; лекция по энтомологии последовала после находки мокрицы; капля дождя вызвала химический потоп; так что, пока мы дошли до опушки леса, я прослушал полный курс естественного факультета из уст Лерна.

Но именно на этом месте, на границе леса и полей, и надо было посмотреть и послушать его. Пройдя последнее дерево, он неизменно останавливался, взбирался на межевой столб и начинал диссертацию о природе перед лицом ее. Он до того гениально описывал землю и небо, что казалось, будто земля раскрывает перед вами свои недра, а небеса свою бесконечную глубину. Он с одинаковой легкостью и с одинаковым знанием рассказывал как о слоях земли, так и о соотношении планет. Он анализировал строение облака, причину возникшего ветерка, вызывал к жизни доисторическое строение земли, предсказывал будущее строение этой местности. Он окидывал своими зоркими глазами все, начиная с близкой хижины бедняка, кончая голубоватой линией горизонта. Всякая вещь была описана коротким метким словом, которое срывало с нее покров и ставило на ее настоящее место и, так как он делал широкие жесты, указывая на то, о чем он говорил, то казалось, будто от его рук тянутся лучи, освещающие и благословляющие все, что он описывал.

Возвращение в Фонваль не носило, обыкновенно, такого научного характера. Дядюшка погружался в задумчивость и, по-видимому, размышлял о вещах, слишком отвлеченных и трудных для моего мозга среднего интеллигента; он мурлыкал себе под нос свой любимый мотив, которому он, должно быть, научился от своих помощников: «Рум фил дум, рум фил дум».

Затем, как только мы приходили домой, он поспешно удалялся в лабораторию или оранжерею.

Наши пешие прогулки чередовались с поездками на автомобиле. В последних случаях дядя садился на другого своего конька. Он классифицировал животных нашего времени, доисторического времени и животных будущего, среди которых автомобиль, несомненно, займет главное место. И это предсказание неизменно заканчивалось восторженным панегириком в честь моей восьмидесятисильной машины.

Он захотел научиться управлению. Это была нетрудная задача. В три урока я научил его блестяще справляться с этим. Теперь он всегда сидел на руле, чем я был очень доволен, так как после двойной операции, перенесенной мною и двойной спайки моих зрительных нервов, мои глаза очень быстро уставали от напряженного всматривания в дорогу. Точно так же я плохо слышал левым ухом, но не хотел говорить об этом Лерну, боясь увеличить его угрызения совести, которыми он и без того казался замученным.

Как-то после одной из этих поездок, когда я приводил машину в порядок — мне поневоле приходилось самому заниматься этим — я нашел между сиденьем и спинкой на месте Лерна записную книжечку, которая выскользнула из его кармана. Я положил ее в свой карман, собираясь вернуть, когда увижу его.

Но, вернувшись к себе в комнату до встречи с ним, я из любопытства раскрыл ее, чтобы посмотреть, что там такое. Она была заполнена заметками и эскизными набросками, сделанными наскоро карандашом. Было похоже на то, что это ежедневные записи лабораторной работы. Рисунки, на мой взгляд, ничего не обозначали. Текст состоял, главным образом, из немецких выражений, вперемешку с французскими, причем казалось, что смесь языков не следовала какому-нибудь заранее определенному порядку. В общем, я ничего не понял. Однако, под вчерашним числом я нашел заметку менее хаотического характера, чем предыдущие; мне показалось, что она представляет собою резюме всех остальных страниц, а несколько французских слов, соеди-

ненных между собой, придавали заметке такое странное значение, что во мне сразу проснулся неизлечимый сыщик и новорожденный лингвист. Вот эти существительные, связанные между собой германскими словами:

П е р е д а ч а... м ы с л ь... э л е к т р и ч е с т в о... м о з - г и... э л е м е н т ы...

При помощи словаря, похищенного в дядиной комнате, я разобрал эту квазикриптограмму, в которой, на мое счастье, одни и те же выражения часто повторялись. Вот перевод ее. Я передаю ее такой, какой перевел, причем обращаю внимание, что не специалист по этим вещам, а кроме того, страшно торопился, чтобы не задержать передачу книжечки по принадлежности.

### В ы в о д ы к з о ч и с л у.

Задача, подлежащая разрешению: перемещение личностей б е з перемещения мозгов.

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*  
\* \*  
\*

Основной пункт: прежние опыты доказали, что всякое тело обладает душой. Ибо душа и жизнь нераздельны между собой, и все организмы, в промежутке времени между рождением и смертью, обладают более или менее развитой, в зависимости от степени своего развития, душой. Таким образом, начиная человеком, переходя к полипу и кончая мхом, все существующее обладает ему одному свойственную душой. (Разве растения не спят, не дышат, не переваривают пищи? Почему же нельзя допустить, что они мыслят?)

Это доказывает, что душа существует даже там, где нет мозга.

Следовательно, душа и мозг не зависят друг от друга.

Ввиду этого, я утверждаю, что можно обмениваться душами, не перемещая для этого мозги.

\*  
\* \*  
\* \* \*

### Опыты по передаче.

Мысль представляет собою электричество, элементами которого служит наш мозг. (Может быть, мозг — аккумулятор — этого я еще точно не знаю; но что безусловно верно, так это то, что передача мысленного флюида (тока) производится путем, аналогичным тому, каким передается электрический флюид).

Опыт 4-го доказывает, что мысль передается при помощи проводника.

Опыт 10-го — что она передается без проводников, по струям эфира.

Следующие опыты указали на слабое место, которое я здесь указываю:

Душа, направленная в чужой организм без ведома этого последнего, сдавливает, если можно так выразиться, душу этого организма, но не в состоянии изгнать ее и занять ее место; а сама эта душа — изгоняемая из своего организма — тоже не в состоянии совершенно покинуть его, а прикреплена к нему каким-то непонятным и необъяснимым мысленным отростком, которого ничто до сегодняшнего дня разрушить не может.

Если оба, подвергающиеся эксперименту лица, согласны на него, все же опыт не удастся по той же причине. Большая часть обеих душ прекрасно размещается в организмах

обоих партнеров, но досадный мысленный отросток мешает каждой душе покинуть окончательно свой организм, несмотря на стремление к этому.

Чем проще и менее сложен организм того, куда душа внедряется, по отношению к тому, который направляет свою душу, тем полнее совершается завоевание чужого тела и тем больше у т о н ч а е т с я отросток, который удерживает душу в старом теле, но все же отросток никогда не доходит до полного уничтожения.

20-го я мысленно внедрил свою душу в Иоанна.

22-го я проделал этот опыт с кошкой.

24-го — с ясенем.

Доступ был каждый раз все легче, с каждым разом я все полнее овладевал их душой, но отросток не исчезал.

Я подумал, что опыт удастся вполне над трупом, потому что в этом случае совершенно будет отсутствовать флюид, который заполняет помещение, которое стремишься занять. Я не сообразил, что смерть несовместима с понятием о душе, так как существование души предполагает существование жизни. Мы напрасно потеряли время и ощущение было отвратительное.

\*

\* \*

\* \* \*

Для того, чтобы отросток исчез, что нужно сделать теоретически? Нужно иметь в своем распоряжении организм, в котором совершенно нет души (для того, чтобы можно было туда поместить свою целиком, без остатка), но который, в то же самое время, не был бы мертвым; другими словами: «организованное тело, которое никогда не жило». Это невозможно.

Следовательно, на практике все наши усилия должны быть направлены к тому, чтобы избавиться от отростка каким-нибудь побочным путем, которого я пока совсем не продвину.

\*  
\* \*  
\* \* \*

Все-таки нельзя отказать опытам этого периода в довольно курьезных результатах, так как мы констатировали следующие факты:

1) Человеческий мозг почти целиком перемещается в растение.

2) Два человека при взаимном согласии (непременное условие) могут почти целиком обмениваться своими личностями, оставляя в стороне, конечно, вопрос об отростке, который делает эти души чем-то вроде сестер или сиамских близнецов, сросшихся мозгами...

3) Если же взаимного согласия нет и приходится действовать насильно, то сжимание той души, которую хочешь заместить, дает тоже довольно любопытные результаты; результаты в пользу того, кто внедряет свою душу; эти результаты отчасти удовлетворяют ту цель, к которой я стремлюсь, и доказывают мне, что если мне удалось бы добиться ее, моя задача была бы блестяще разрешена.

Но она кажется мне неразрешимой.

---

Вот, значит, куда вели те универсальные знания моего дяди, которыми я так восторгался и которыми дядюшка так гордился.

Его теория хоть кого могла сбить с толку. Я должен был бы прийти от нее в изумление. В ней была яркая тенденция к спиритуализму, которая была курьезна в таком материалисте, как Лерн. Его теория казалась до того фантазмагоричной, что, познакомившись с ней, немало глаз, прикрытых учеными очками, начитанными пенсне, смелыми моноклями, раскрылось бы от изумления, смешанного с недоверием. Что касается меня, я не понял сразу всех изу-

мительных сторон его открытия, так как все еще не совсем оправился тогда. Я даже не понял, что перевел что-то вроде французско-немецкого «мене-текел-фарес», направленного по моему адресу. Мое внимание было целиком привлечено выражениями: «организованное тело, которое никогда не жило» и тем, что профессор сомневался в том, что ему удастся когда-нибудь добиться уничтожения отростка. Значит, его предприятие окончилось неудачей. После всех его последних выходов, я был убежден, что он может творить всякие чудеса; только одно могло меня повергнуть в изумление: его признание в том, что он ничего не может сделать.

Я отправился на поиски дяди, чтобы передать ему книжечку. Толстая со всех сторон Варвара, которую я встретил по дороге, сообщила мне, что он гуляет по парку.

Я его там не нашел. Но на берегу пруда я увидел Карла и Вильгельма, которые внимательно смотрели на воду. Я питал отвращение к этим двум грубым субъектам, меня отталкивала мысль, что у них перемещены мозги, и я всегда старательно избегал их близости. Но на этот раз зрелище, привлекавшее их внимание к пруду, заставило и меня подойти к ним поближе.

Из воды в алмазных брызгах выскакивал и погружался обратно карп. Он шевелил своими плавниками, как крыльями, и казалось, что он хочет улететь...

Несчастный, он действительно к этому стремился. Перед мной была та рыба, которую Лерн наделил мозгом черного дрозда. В пленной птице, заключенной в свою чешуйчатую темницу, проснулись воспоминания о прежней жизни, и она рвалась в недостижимое для нее небо из своего, надоевшего ей, холодного заключения. Наконец, после отчаянного усилия, трепеща жабрами, карп упал на берег. Тогда Вильгельм схватил его и оба помощника удалились со своей добычей. Они поддразнивали ее, как распалившиеся грубые и жестокие уличные мальчишки: они насвистывали, насмешливо подражая пению дрозда, и хохотали, причем смех их был похож на ржание и, сами не зная того,



они гораздо удачнее подражали ржанию лошади, чем пению птицы.

Я стоял и задумчиво смотрел на пруд, — эту волнуемую мокрую клетку, в которой заколдованное существо вытерпело муки стремления ввысь и тоску по гнезду... Теперь его мучения окончатся на плите... А каким образом и когда кончатся страдания остальных жертв: вырвавшихся на свободу животных, Мак-Белля... Ах, Мак-Белль!.. Как его спасти?!..

На спокойной, уснувшей поверхности воды сглаживался последний круг, и небесный свод снова отражался в успокоившемся зеркале. Вечерняя звезда сияла в глубине его на бесконечно далеком расстоянии... но достаточно было захотеть и казалось, что она сверкает на поверхности воды. Листья болотных лилий, самых разнообразных форм — круглые, полукруглые и серпообразные — казались отражениями луны в различных стадиях ее появления, заключенными в эту застывшую от сна воду.

«...Мак-Белль, — не выходило у меня из головы, — Мак-Белль... Что делать...»

В эту минуту я услышал отдаленный звон колокольчика у входных ворот. Кто бы это мог быть так поздно? Посетитель?.. Ведь никто никогда сюда не являлся...

Я быстрыми шагами направился к замку, в первый раз задумавшись над тем, что случится с Николаем Вермоном, если в Фонваль вздумает явиться судебный следователь.

Спрятавшись за углом замка, я рискнул высунуть голову, чтобы посмотреть, в чем дело.

Лерн стоял на пороге входной двери и читал только что полученную телеграмму. Я вышел из-под своего прикрытия.

— Вот, дядюшка, — сказал я, — записная книжка. Мне кажется, что это ваша... Я нашел ее в автомобиле на вашем месте.

Я услышал сзади себя шелест юбок и обернулся.

К нам приближалась Эмма, залитая лучами заходящего солнца, в красном свете которого ее волосы как бы обновляли каждый вечер свой запас огненного цвета. Напевая

что-то вполголоса с таким видом, как другие держат в полураскрытых губах цветок, она грациозно подходила к нам, и ее походка напоминала, как всегда, пляску.

Ее тоже заинтересовал звонок. Она спросила о содержании телеграммы.

Профессор не отвечал.

— Ах, Господи, — сказала она. — В чем дело? Что еще приключилось?

— Разве вы получили неприятное известие, дядюшка? — спросил я в свою очередь.

— Нет, — ответил Лерн. — Донифан умер. Вот и все.

— Бедный малый, — сказала Эмма. Потом после минутной паузы: — Но разве не лучше умереть, чем продолжать жизнь сумасшедшим? В конце концов, для него это был лучший исход... Ну, Николай, послушай, не делай такого лица... Идем...

Она схватила меня за руку и потащила в замок. Лерн пошел своей дорогой.

Я был потрясен.

— Оставь меня! Оставь меня, — вдруг закричал я. — Это слишком ужасно! Донифан... Несчастный... Ты не понимаешь, ты не можешь понять... Да оставь меня, наконец, в покое...

Меня охватил невообразимый ужас. Освободившись от Эммы, я побежал вслед за дядей и нагнал его у входа в лабораторию.

— Дядюшка... Ведь вы ему не рассказали этого... о смерти... ему, Иоанну.

— Нет, сказал. А что? Почему?

— Ах, какой ужас. Ведь он скажет об этом другим. Об этом станут говорить... и Нелли об этом узнает, наверное. Они ей расскажут... Да поймите же, наконец: душа Донифана узнает, что у нее нет больше человеческой оболочки... А этого не надо, не надо...

Дядя произнес с раздражающим хладнокровием:

— Нет никакой опасности, Николай. Ручаюсь тебе в этом.

— Никакой опасности? Почему вы знаете? Это негодные люди; они все ей расскажут, говоря я вам. Позвольте мне предотвратить... эту опасность... время не терпит... позвольте мне войти... пожалуйста... ради Бога... позвольте мне зайти на минутку... туда... умоляю вас... Ах, черт побери, я пройду...

Уроки быка не прошли для меня без пользы: я бросился вперед, нагнув голову. Дядя растянулся на траве от удара в живот, а я ударом кулака отворил полузакрытую дверь. Честный Иоанн, стоявший за нею на часах, упал с разбитым в кровь носом. Тогда я проникнул во двор, твердо решив увести с собой собаку, чего бы это мне ни стоило, и больше не расставаться с ней.

Вся свора разбежалась по будкам. Я сразу увидел Нелли. Ей отвели отдельное от других собак помещение. Ее большое, голодное, наголо остриженное, изможденное тело лежало у самой решетки.

Я крикнул:

— Донифан!

Она не пошевелилась. Зрачки собак блестели в глубине будок. Некоторые зарычали.

— Донифан... Нелли...

Молчание.

У меня явилось предчувствие истины: и здесь Смерть прошла со своей косой.

Да. Нелли лежала похолодевшая и вытянувшаяся. Цепь, которой она была привязана, как мне показалось, задушила ее. Я собирался убедиться в этом, когда Лерн и Иоанн показались на пороге двора.

— Разбойники! — закричал я. — Вы ее убили!

— Нет. Даю тебе честное слово. Клянусь тебе, — заявил дядя. — Ее нашли сегодня утром в том самом положении, в котором ты ее видишь сейчас.

— ...Значит, вы думаете, что она это сделала нарочно? Что она покончила с собой? О, какой ужасный конец!

— Может быть, — сказал Лерн. — Но есть другое объяснение, более правдоподобное. По моему убеждению, цепь натянута из-за сильных судорог... это тело было очень

больным. Вот уже несколько дней, как появилась водобоязнь... Я ничего от тебя не скрываю, Николай, я никоим образом не хочу свалить с себя ответственности и оправдываться. Ты можешь во всем убедиться лично...

— О, — пробормотал я, — водобоязнь: бешенство...

Лерн продолжал совершенно спокойно:

— Может быть, что есть и другая причина смерти, но она скрыта от нас. Нелли нашли мертвой сегодня в восемь часов утра. Она была еще теплой. Смерть произошла приблизительно за час до этого...

Профессор взглянул на телеграмму.

— ...А! — добавил он. — Мак-Белль умер в семь часов утра, как раз в то же время.

— От чего, — спросил я, задыхаясь, — от чего он умер?

— Тоже от бешенства.

### ХІІІ.

#### ОПЫТЫ?.. ГАЛЛЮЦИНАЦИИ?..

**М**ы находились все втроем — Эмма, Лерн и я — в маленьком зале, когда с профессором случился припадок головокружения.

Это был уже не первый; с некоторого времени я заметил, что в здоровье моего дяди происходит что-то неладное. Но до сих пор все его недомогания носили туманный характер — это был первый, ясно выраженный, характерный случай, так что я мог наблюдать все детали его и странные обстоятельства, которыми припадок сопровождался. Вот почему я буду говорить, главным образом, об этом. Всякий, не знающий о том, что тут происходило, объяснил бы этот припадок мозговым переутомлением. Да и на самом деле, дядюшка работал поразительно много. Он уже не довольствовался оранжереей, лабораторией и замком: он присоединил к ним весь парк. Теперь весь Фонваль оцетинился странными шестами, невиданными мачтами, необыкновенными семафорами; и когда оказалось, что некоторые деревья мешают производству опытов, была вызвана армия дровосеков, чтобы вырубить их. Радость, которую я испытал, увидев, что люди получили право свободного доступа в это имение, утешила меня в горе, причиненном мне этой святотатственной вырубкой. Весь Фонваль превратился в огромную лабораторию, и целый день можно было видеть, как дядюшка лихорадочно носится от одного здания к другому, от одной мачты к другой в поисках способа уничтожить фатальный отросток. Но по временам у него случались минуты слабости под влиянием припадков, о которых я начал говорить. Обыкновенно, это происходило в то время, как, погруженный в глубокую задумчивость, он начинал пристально вглядываться в какой-нибудь предмет; вот тут-то, в полном разгаре его мозговой деятельно-

сти, он вдруг начинал бледнеть, чувствуя приближение припадка. Он становился все бледнее и бледнее... пока цвет лица сам собою постепенно не становился нормальным. После припадков он становился вялым и бессильным. Он терял после них мужество, и я слышал, как после одного из них он бормотал унылым тоном: «Я никогда не добьюсь этого... никогда». Часто мне хотелось заговорить с ним по этому поводу. На этот раз я решился.

Мы пили кофе. Лерн сидел в кресле напротив окна и держал в руках чашку. Говорили о том, о сем, причем слова раздавались все реже и реже. За отсутствием интересной темы, разговор угасал; мало-помалу он совсем прекратился, как гаснет огонь за отсутствием топлива в печке.

Пробили часы, за окном прошли дровосеки, направляясь на работу, с топорами на плечах. Они заставили меня подумать о ликторах в рубищах, которые направлялись чинить пытки деревьям.

Который из моих старых приятелей погибнет сегодня? Этот бук? Или вот то каштановое дерево?.. Сквозь окно я видел, как их темнеющая листва выделялась на общем фоне пожелтевшего леса. Только сосны чернели. В воздухе кружились и падали желтые листья, хотя не было даже ветерка. Колоссальный тополь выделялся своею седой головой над лиственным уровнем остальных деревьев. Я давно помнил его все таким же монументальным и, глядя на него, вспоминал свое детство...

Вдруг на нем началась птичья паника; две вороны улетели с него, каркая; белка, прыгая с ветки на ветку, перепрыгнула с него на соседнее ореховое дерево. Должно быть, на дерево влезло какое-нибудь вонючее животное и перепугало их. Я не мог его разглядеть, потому что густые кустарники закрывали от меня низ дерева. Но я испытал тяжелое чувство, когда увидел, как оно задрожало сверху до низу, покачнулось и медленно закачало своими ветвями. Получалось такое впечатление, точно задул ветер, но только для него одного.

Моя мысль вернулась к дровосекам, но без определенной связи с этими явлениями. «Неужели дядя приказал им, —

подумал я, — срубить этот тополь, который является почтенным патриархом этого леса, царем Фонваля? Это было бы досадно и несправедливо». Подумав это, я повернулся к Лерну, чтобы навести у него справки, и тут-то я и заметил, что с ним повторился его обычный припадок.

Я заметил его неподвижность, бледность, напряженность взгляда, словом, все отличительные признаки припадка; кроме того, мне удалось определить, куда направлен с такой настойчивостью его взгляд человека, находящегося в сомнамбулическом сне. Он, оказывается, смотрел на тополь, движения которого были так страшны, что до ужаса напоминали любовные воинственные пожатия пальмовых листьев в оранжерее... Я вспомнил о записной книжке. Не существовало ли какой-нибудь скрытой связи между с л а б о с т ь ю этого человека и о ж и в л е н и е м этого дерева...

Вдруг раздался глухой звук удара топора о ствол дерева. Тополь содрогнулся, задрожал... дядя привскочил на месте: выпавшая из его рук чашка разбилась вдребезги, упав на пол, а он, в то время, как кровь медленно прилиwała к его бледным щекам, схватился за ногу, точно топор дровосека ударил одновременно и дерево, и человека.

Лерн мало-помалу приходил в себя. Я сделал вид, что ничего не заметил, кроме обморочного состояния, и сказал ему, что ему следовало бы полечиться, так как эти часто повторяющиеся обмороки могут довести человека до могилы. «Знает ли он хотя бы, чем они вызваны?»

Дядя сделал головой знак, что — да. Эмма подбежала к креслу и засуетилась вокруг дяди.

— Я знаю, в чем дело, — удалось ему, наконец, выговорить, — сердцебиение... обмороки... на сердечной почве... я лечусь...

Но это была неправда. Профессор вовсе не лечился. Он сжигал свою жизнь, гоняясь за химерой, заботясь о своем теле не больше, как о старой рухляди, которую надо выбросить, как только она отслужит свою службу.

Эмма посоветовала ему:

— Что если бы вам прогуляться? На свежем воздухе вам будет лучше.

Он поднялся с места и вышел в парк. Мы видели, как он пошел по направлению к тополи с трубкой в зубах. Удары топора все учащались. Дерево склонилось, упало... Звук от падения напомнил землетрясение. Ветви задели дядю по лицу — он не сдвинулся с места.

Лишившись этого гиганта, Фонваль теперь казался еще более плоским, и я тщетно старался восстановить в своем воображении место уже позабытое, которое занимал в парке тополь и его вышину, уже казавшуюся легендарной. Лерн вернулся. Он даже не отдавал себе отчета, что подвергался опасности. Становилось жутко на душе при мысли, что он мог быть таким же рассеянным при своих рискованных опытах, например, при перемещениях душ, о которых упоминалось в книжечке...

Присутствовал я при одном из этих опытов. Я думал об этом с жутким чувством, с тем странным ощущением, которое я столько раз испытывал в Фонвале, с чувством человека, бродящего в абсолютной темноте ощупью. Случайно ли совпал обморок Лерна с волнением дерева? Или же между ним существовала какая-нибудь связь в момент удара топором по дереву?.. Конечно, достаточно было приближения дровосеков к тополи, чтобы обеспокоенные птицы улетели... И колыхание листьев легко было объяснить тем, что кто-то влез на дерево, чтобы привязать традиционную веревку...

Еще лишний раз я стоял на перекрестке всевозможных решений, интересовавших меня вопросов. Но мой мозг утратил свойственную ему проникаемость: притупляющее действие цирцейских операций еще не прошло, а усиленный режим страстной любви, которым меня окружила Эмма с молчаливого благоволения дяди, тоже не имел в себе ничего, восстанавливающего силы.

А так как разврат был для меня всегда притягательной силой, то я так же не мог обходиться без Эммы, как курильщик опиума без своей трубки или морфиноман без своего шприца. (Да простит мне глупенькая очарователь-



ница это сравнение хотя бы из-за его верности!). Я осмелел настолько, что сплошь и рядом проводил ночи в комнате моей дарительницы восторгов, рядом с комнатой Лерна. Как-то вечером он накрыл нас в ней и воспользовался этим случаем, чтобы назавтра повторить нам условия нашего контракта: «Полная свобода любить друг друга, но с непременным условием не избегать и не покидать меня. В противном случае, вы ничего не получите от меня». Говоря это, он обращался, главным образом, к Эмме, так как знал, как неотразимо действует на нее это обещание.

Я до сих пор удивляюсь и не могу понять, как я, по доброй воле, согласился на такое позорное предложение. Но женщина сильнее самого искусного заклинателя: выразительный взгляд любимых очей, непередаваемое грациозное движение тела — и вся ваша жизнь идет шиворот-навыворот; мы совершенно меняемся скорее и полнее, чем от прикосновения волшебной палочки или скальпеля хирурга. Что такое Лерн в сравнении с Эммою?..

Эмма... Я проводил с ней все ночи, несмотря на близость Лерна. Он помещался тут же, за перегородкой; он мог нас слышать, мог подглядывать за нами в замочную скважину.. Да простит мне Бог, но должен сознаться, что находил в этой мысли какое-то возбуждающее средство, какое-то пикантное, порочное побуждение для продолжения наших оргий.

А между тем, и без этого какое блаженство... И с каждой ночью я все сильнее увлекался...

Простосердечная и непосредственная натура, изобретательнейшая любовница, Эмма обладала даром удивительно разнообразить древний, как мир, акт любви, который неизменен в своей основе, но обряды которого тоже не менее разнообразны, чем мир. Она умела любить по-разному, не прибегая к этим занумерованным, упоминаемым во всех каталогах легкомысленных писателей XVIII века позам, к слову сказать, очень скучным, а благодаря каким-то оригинальным, трудно определяемым и очаровательным свойствам своей натуры. Она была многообразна в любви, развратна инстинктивно, моментально превращаясь из ти-

ранической повелительницы в легкую податливую добычу. Правда, что ее тело легко поддавалось всем ее лукавым и забавным выдумкам. Так как, сплошь и рядом, поза и жесты необузданной куртизанки, благодаря какому-то непроизвольному целомудренному движению, или благодаря внезапно наступившей неподвижности, напоминали до полного обмана движения очень молодой девушки. Ах! Это тело обезумевшей девственницы, производившее такое странное впечатление незрелости...

Мне кажется, что я достаточно подробно описал наше времяпрепровождение, чтобы понятно было, насколько оно мне было дорого — и что если я вынужден был решиться прекратить его, то причина для этого должна была быть необычайно серьезна.

Причину эту я нашел в следующем приключении, которое я объяснил бы, вероятно, состоянием своей нервной системы после операции, если бы я заблаговременно не познакомился с содержанием дядиной записной книжечки. Весьма вероятно, что я приписал бы его «патологическому последствию операции», и Лерну удалось бы насмеяться надо мной до конца. К счастью, я разгадал его тактику с первого момента нападения.

Как-то вечером, когда я, по установившейся привычке, проходил по комнатам первого этажа, чтобы пройти через свою комнату в комнату Эммы, я услышал, как в дядиной комнате, находящейся над столовой, передвигают кресло. В этот поздний час он, обыкновенно, не передвигался больше; эта мелкая подробность не произвела на меня никакого впечатления. Я продолжал свой путь, не стараясь заглушать свои шаги, так как я шел не на тайное, а на разрешенное свидание.

Эмма завивала на ночь свой последний локон. К очаровательному обычному аромату этой комнаты примешивался запах слегка пригорелой бумаги, на которой пробовали, не слишком ли сильно нагрелись щипцы; мне кажется, что это символ примеси запаха дьявола к аромату женского тела.

Рядом все стихло. Для вящей предосторожности, я запер комнату на задвижку с той стороны, где находилась комната Лерна. Нам нечего было, таким образом, бояться неожиданного появления дяди, конечно, не представлявшего опасности, но все же несвоевременного. Сквозь скважину было видно, что в соседней комнате не было света. Ни разу я еще не предпринимал таких мер предосторожности.

Вся дрожа, окутанная легким кружевом и шелком, Эмма повлекла меня к кровати.

Две яркие лампы горели на камине, потому что восхитительное зрелище взаимного восторга не заслуживает презрения; и надо быть благодарным природе, которая хочет, чтобы каждое из наших чувств получало свою дозу радости при этом наслаждении, и только в этом случае она наградила нас шестью чувствами.

Эмма действовала на них постепенно. Мое счастье зажигалось о ее восторги и оживало от прикосновения к яркому пламени ее чувства. При ней божественная комедия замыкалась в полный круг. Все там было: пролог, неожиданные перемены, ловкие проделки, развязка. И все это происходило, как происходит в великолепных пьесах: совершались именно те события, которых ждешь, но всегда совершенно неожиданно.

Сначала Эмма хотела, чтобы ее ласкали...

Потом, находя, что предварительные испытания достаточно долго продолжались, она приняла позу героини и решила в этот вечер, как и в многие предыдущие, проскакать фантастический свадебный галоп.

Но, как раз в то время, когда она, как опытная Валькирия, мчалась к бездне удовлетворения, произошла эта страшная, удивительная вещь.

Вместо того, чтобы подниматься по сладострастной тропинке наслаждения к пароксизму страсти, мне показалось, что я испытываю противоположное чувство, испытывая все меньше и меньше удовольствия, переходя постепенно к безразличию. Я продолжал чувствовать себя бодрым, все возрастающая страсть жгла мою кровь, но чем больше увлекалось мое тело, тем меньше я испытывал удовольст-

вия... Этот печальный результат взволновал меня. Но вот и это волнение улеглось... Я хотел усмирить свое расходившееся тело, но куда там — моя воля ослабевала с каждой минутой. Я чувствовал, как мой мозг сжимается и точно садится; и моя душа, сделавшаяся совсем маленькой, потеряла способность управлять моим телом и воспринимать его ощущения. Едва-едва мне удавалось отдавать себе отчет в поступках моего тела и заметить, что оно проявляет совершенно исключительную энергию, чем Эмма, по-видимому, была очень довольна.

Надеясь остановить действие этого странного явления, я старался усилить свою волю, но тщетно. Казалось, что чья-то чужая душа захватила место моей и, управляя по своему усмотрению мной, впитывает в себя наслаждение от моей нечистой радости при помощи моих нервов.

Эта душа загнала мое «я» в уголок моего мозга; какой-то самозванец обманывал меня с моей любовницей, тоже введенной в заблуждение, при помощи какого-то гнусного приема...

Эти микроскопические мыслишки волновали мою душу — душу карлика. Душа эта сделалась до того незначительной к моменту апофеоза, что я испугался, как бы она совсем не покинула меня.

Потом она стала расти, увеличиваться в объеме и постепенно заняла целиком принадлежащее ей место. Мои мысли прояснились. Я испытывал сильное утомление — артеггард Эроса — и судорогу в правой ноге. Мое плечо онемело от прикосновения, превратившегося в чувство тяжести: на нем лежала голова Эммы и неизбежный у нее обморок не дал ей времени и возможности опустить голову на подушку.

Я продолжал вступать в свои права. Но это продолжалось довольно долго. Мои глаза еще ни разу не мигнули: они были направлены в определенное место, и я заметил теперь, что в продолжение этого необыкновенного времени чьи-то глаза, не отрываясь, смотрели в замочную скважину из комнаты Лерна. Даже и сейчас они не могли оторваться от нее...

Я освободился от объятий ненужной и бесполезной теперь возлюбленной... У самой двери, по ту сторону ее, слышался легкий шум, точно кто-то встал со стула и отходил от нее на цыпочках... Замочная скважина производила на меня впечатление маленького темного окна, выходящего в тайну...

Эмма вздохнула:

— Ты никогда еще не доставлял мне столько радости, Николай, за исключением одного раза... Послушай... прошу тебя...

Я убежал, не отвечая.

---

Теперь мне все сделалось ясным. Разве профессор не сознался мне: «Я думал было перевоплотиться в твою внешность, чтобы быть любимым под видом тебя». Его старание спасти мое истерзанное тело, метод, изложенный в записной книжке, история с тополем, — все это, приведенное в связь между собой, стало его религией. Так называемые обмороки становились подозрительно похожими на опыты, во время которых Лерн, при помощи чего-то вроде гипнотизма, переносился душой в заранее назначенные места. Приложив глаз к замочной скважине, он перелил свое «я» в мой мозг, пользуясь своим несовершенным еще открытием, чтобы устраивать самые невероятные перевоплощения... Мне скажут, что характер невероятности моего рассуждения должен был бы заставить меня усомниться в его ценности; но в Фонвале несвязность была возведена в закон, всякое объяснение имело тем больше шансов быть правильным, чем абсурднее оно казалось на первый взгляд.

Ах, эта мысль о глазах Лерна у замочной скважины! Они, эти глаза, преследовали меня и казались мне всемогущими, как глаза Иеговы, преследовавшие с высоты небес грешного Каина...

Хотя сейчас я и шучу над этим, но тогда мне было совсем не до шуток, так как новая опасность была для меня ясна, и я думал только о том, как избежать ее. После довольно долгих размышлений, я остановился на единственном разумном плане, который я, собственно говоря, давным-давно должен был бы привести в исполнение: на отъезде. Конечно, совместном с Эммой, потому что теперь я ни за что на свете не оставил бы ее дяде: приобретя снова вид человека, я вместе с тем приобрел и его способность к увлечению.

Но Эмма не принадлежала к числу тех натур, которых можно похищать против их воли. Согласится ли она бросить одним ударом Лерна и обещанные им богатства? Конечно, нет. Бедная девушка недаром мирилась с тою жизнью, на которую ее обрек в течении стольких лет Лерн; она думала только о будущем великолепии; она была неумна и жадна. Чтобы уговорить ее уйти со мной, надо было убедить ее, что она при этом ни сантима не потеряет... И только Лерн мог убедить ее в этом.

Значит, надо было добиться во что бы то ни стало согласия профессора.

...Конечно, речь могла идти только о насильно вырванном согласии, но я надеялся, что мне великолепно удастся запугать его. Я искусно намекну на убийство Мак-Белля и Клоца; дядя перепугается и поговорит с Эммой в нужном мне смысле, и я увезу с собой свою подругу... заранее идя на то, что Николай Вермон лишится наследства, вероятно, сильно затронутого, а м-ль Бурдише — роскоши, впрочем, очень сомнительной.

Скоро я разработал свой план действий во всех подробностях.

## XIV.

### СМЕРТЬ И МАСКА

**Н**о привести его в исполнение мне так и не пришлось.

Не потому, что я поколебался приступить к его исполнению. Мое решение было непоколебимо; и, если у меня и явилось опасение угрожавшей мне опасности при выполнении его, то эти мысли пришли мне в голову тогда, когда весь план был неисполним. Покуда этого обстоятельства еще не было, я с нетерпением искал случая сделать так, как решил и даже, должен сознаться в этом, я очень настойчиво искал этого случая и спешил покончить с этим делом, так как мое чувство страха все росло.

Моему перепуганному воображению повсюду мерещилась опасность, причем она казалась мне тем коварнее и таинственнее, чем незаметнее она была на первый взгляд. Эмма проводила ночи в моей комнате. Замочные скважины, просветы у дверей, все отверстия, сквозь которые мог бы проникнуть глаз опасного подглядчика, были тщательно заделаны мною. Несмотря на то, что я должен был бы чувствовать себя здесь в полной безопасности, Эмма жаловалась на мою холодность, — до того я был весь занят одной мыслью. Как-то раз, когда я заставил себя не думать о Лерне, ее странный обморок произошел раньше обыкновенного; теперь я объясняю себе это предшествующим периодом воздержания, но тогда я предположил возможность нового несчастья: не перевоплотил ли Лерн свою душу в Эмму... И ужас, и отвращение, охватившие меня при мысли, что я пошел навстречу отвратительным наклонностям старого Лерна, обнимая свою подругу, заставили меня окончательно отказаться от них. Я не рисковал больше глядеть дяде прямо в глаза. Я бродил, опустив голову, избегая взгляда всех встречающих, даже глаз портретов, кото-

рые следуют за вами, когда вы проходите мимо них. Всякий пустяк приводил меня в содрогание. Я пугался всего: белоголовой птицы, колыхавшейся от дуновения ветерка травки, пения птиц в густой листве деревьев...

Вы сами видите, что нельзя было медлить с отъездом, и я стремился к этому всеми силами души. Но я решил выбрать такой момент для беседы с Лерном, когда он должен был бы согласиться на мое предложение, для того, чтобы прибегнуть к угрозе только в крайнем случае. А момент этот все не приходил. Он все еще не мог добиться того открытия, которого жаждал. Незадача изводила его. Его обмороки — или, вернее, его опыты — все увеличивались в количестве и ослабляли его организм. И в зависимости от этого портилось его настроение.

Только наши прогулки сохранили еще способность восстанавливать его душевное спокойствие, и то более или менее; он еще продолжал мурлыкать свое «рум фил дум», оттаиваясь каждые десять шагов, чтобы произнести какой-нибудь научный афоризм. Но все же по-прежнему больше всего приводил его в восхищение автомобиль.

По-видимому, несмотря на печальный результат, которого я добился при аналогичных условиях несколько месяцев тому назад, приходилось решиться поговорить с ним во время поездки на автомобиле.

Я так и поступил бы, не произошли несчастье.

Это произошло в Луркском лесу за три километра от Грея, когда мы возвращались в Фонваль из поездки в Вузье.

Мы полным ходом поднимались в гору. Управлял дядя. Я повторял про себя то, что собирался сказать, в сотый раз проверял точность своих выражений и смысл заранее подготовленных длинных фраз и чувствовал сухость во рту от страха за результат своей речи. С самого отъезда, я с минуты на минуту откладывал это объяснение в поисках твердого и решительного тона, которым мог бы запугать тирана. У каждой деревушки, у каждого поворота дороги я говорил себе: «Вот где ты заговоришь». Но мы пронеслись мимо всех встречных деревень, обогнули все повороты, а я



все еще не произнес ни одного слова. В моем распоряжении оставалось всего около десяти минут. Ну же, смелее!.. Я решил, — начну атаку, когда мы въедем на эту гору. Это последняя отсрочка...

Моя первая фраза стояла наготове и ждала, чтобы я ее произнес, как актер, стоящий у выхода на сцене и ждущий, чтобы его выпустили, как вдруг автомобиль резко повернул направо, потом свернул налево и приподнялся на своих боковых колесах... Мы сейчас опрокинемся... Я схватился за рулевое колесо и пустил в ход все тормоза — ручные и ножные, какие только мог достать... Автомобиль мало-помалу перестал прыгать из стороны в сторону, замедлил свой ход и остановился как раз вовремя.

Тогда я взглянул на Лерна.

Он почти выскользнул из своего сиденья, голова его свисала на грудь, выражения глаз за очками нельзя было разглядеть; одна рука беспомощно болталась... Обморок... Ну, можно сказать, что нам повезло... Но в таком случае, значит, эти обмороки были настоящими — до потери сознания включительно. Чего я только не придумаю со своей дурустью...

А дядя, между тем, все не приходил в себя. Сняв с него автомобильную фуражку с очками, я заметил, что его лицо приобрело восковую бледность; руки, с которых я снял перчатки, имели тот же оттенок. Полный невежда в медицине, я стал похлопывать по ним: я видел, что так делают на сцене, когда хотят привести в себя упавшую в обморок.

В тиши полей раздался звук аплодисментов. Ими приветствовали выход великого актера.

Действительно, Фредерик Лерн перестал существовать. Я понял это по его холодеющим пальцам, по синеющим щекам, по потускневшему взгляду его глаз, наконец, по переставшему биться сердцу. Болезнь сердца, в существование которой я отказывался верить, привела его к смерти, как всегда бывает при этих болезнях — внезапной.

Удивление, а также и возбуждение от сознания неминуемой гибели, от которой мне удалось спастись, огорошили меня... Итак, в одну секунду от Лерна осталась только пища

для червей, да имя, которое скоро всеми будет забыто, словом — ничто. Несмотря на мою ненависть к этому зловредному человеку и радость от сознания, что теперь он больше не опасен мне, быстрота и неожиданность перехода от жизни к смерти, уничтожившей одним дуновением этот чудовищно гениальный мозг, приводила меня в ужас.

Как марионетка, брошенная рукой, которая приводила ее в движение и симулировала в ней жизнь, как картонный паяц, висящий на краю игрушечной сцены, Лерн лежал, откинувшись всем телом; а смерть еще сильнее напудрила его маску умершего Пьеро.

Но в то время, как покинувший тело моего дяди гений удалялся в неизвестность, лицо его, как мне показалось, хорошело. Мы до того привыкли к выражению, что душа украшает тело, что я удивлялся тому, как украшало лицо дяди отсутствие души. Внимательно всматриваясь в лицо Лерна, я увидел, как это явление все прогрессирует. Глубокая тайна озаряла его вполне спокойное чело, точно жизнь на нем была тучей, скрывшей какое-то неизвестное нам солнце. Лицо постепенно приобретало оттенок белого мрамора, и манекен превращался в статую.

Слезы затуманили мой взор. Я снял фуражку. Если бы мой дядя погиб пятнадцать лет тому назад в полном расцвете счастья и таланта, то останки тогдашнего Лерна не были бы прекраснее...

Но я не мог оставаться дольше на большой дороге наедине с мертвецом. Я без особенного удовольствия обнял его, пересадил налево от себя и крепко привязал багажными ремнями к сиденью. Когда я одел ему на голову фуражку с очками, натянул на руки перчатки, он производил впечатление уснувшего путника.

Мы тронулись в путь, сидя рядом друг с другом.

В Грее никто не обратил внимания на напряженную позу моего спутника, и мне удалось спокойно довезти его в Фонваль. Я был полон преклонения перед гениальностью усопшего ученого и жалости перед влюбленным стариком, который перенес столько страданий. Я забыл о нанесенных мне оскорблениях, сидя рядом с умершим оскорбителем. Я

испытывал чувство глубокого уважения и, не знаю, сознаваться ли в этом, непреодолимого отвращения, под впечатлением которого старался отодвинуться от него, насколько мог, дальше.

Со времени моей встречи с немцами в лабиринте, в утро моего приезда в Фонваль, я ни разу не обращался к ним с какими-либо словами. Я пошел за ними в лабораторию, оставив автомобиль с его трупом-шофером у главного входа в замок.

По моей оживленной жестикуляции, помощники тотчас же догадались, что произошло что-то необыкновенное, и пошли за мной. У них было выражение лиц субъектов, знающих за собой что-то скверное и предвидящих возможность несчастья во всякой неожиданности. Когда трое сообщников убедились в том ударе, который их поразил, они не могли скрыть ни своего разочарования, ни своего ужаса. Они завели громкий оживленный разговор. Иоанн говорил высокомерным тоном, оба остальные — рабски-почтительным. Я спокойно ждал, пока им будет угодно обратиться ко мне.

Наконец, они кончили и помогли мне внести профессора в его комнату и уложить его на кровать. Эмма, увидев нас, убежала с громким криком. Так как немцы, не сказав ни слова, ушли, мы с Варварой остались одни у трупа. Толстая горничная пролила несколько слез; я думаю, что она сделала это не столько из огорчения по поводу смерти ее хозяина, сколько из присущего всем людям чувства уважения перед смертью вообще. Она смотрела на него с высоты своего громадного роста. Лерн менялся на вид: нос вытянулся, ногти посинели.

Долгое молчание.

— Нужно было бы убрать его, — прервал я вдруг молчание.

— Предоставьте эту обязанность мне, — ответила Варвара, — она не из веселых, но мне не в первый раз придется заняться этим делом.

Я повернулся спиной, чтобы не смотреть, как делают туалет мертвеца. Варвара была в этом отношении похожа на

всех деревенских кумушек: при случае, она могла быть и повивальной бабкой, и уборщицей мертвецов. Немного спустя, она заявила:

— Все сделано, и хорошо сделано. Все на месте, за исключением святой воды и орденов, которых я не могу найти...

Лерн лежал на своей белоснежной кровати до того бледный, что казалось, точно это был надгробный памятник, причем ложе и лежавшее на нем изображение были точно высечены из одного куска мрамора. Дядя был тщательно причесан, одет в белую рубашку со складками и белый галстук. В пальцы бледных, положенных крест-накрест рук были положены четки. На груди лежал крест. Колени и ноги выделялись под простыней, как две острых, белоснежных тропинки... На столе стояла тарелка, без воды, с лежащей в ней веткой сухого дерева, а сзади горели две свечи; Варвара устроила из стола нечто вроде маленького алтаря, и я упрекнул ее в непоследовательности. Она возразила, что таков был обычай у них, и, уклонившись от спора, закрыла портьеры. На лицо мертвеца легли мрачные тени — предвестницы тех морщин, которые выроет на нем всемогущая смерть.

— Откройте настежь, — сказал я. — Дайте войти в комнату солнцу, пению птиц и аромату цветов...

Служанка повиновалась, ворча, что «все это противоречит обычаю», потом, получив от меня инструкции для принятия необходимых мер, она, по моей просьбе, покинула меня.

Сквозь открытое окно в комнату проникал запах осенних листьев. Он бесконечно грустен. Он напоминает похоронный гимн... Пронеслись, каркая, вороны, и их полет вызвал в моем мозгу картину полета смерти с косой... Приближение вечера сменяло яркость дня...

Чтобы не смотреть на кровать, я принялся за осмотр комнаты. Над старинным бюро улыбался портрет тети Лидивины, писанный пастелью. Совершенно напрасно художники пишут портреты с улыбками: этим портретам часто приходится присутствовать при таких вещах, при которых вовсе не до смеха; например, портрету тети Лидивины при-

шлось лицезреть связь своего супруга с какой-то женщиной, а теперь улыбаться его труп... Портрет был написан лет двадцать тому назад, но, благодаря нежным тонам пастельных красок, выглядел гораздо более старым. С каждым днем он все больше выцветал и казался все старше, так что значительно удалял в даль времен мою тетю и мою молодость. Он мне разонравился.

Я постарался отвлечь свое внимание в другую сторону, на появление первых летучих мышей, на наступление сумерек, на танцующие тени, которые отбрасывали колеблюмые ветерком свечи...

Поднявшийся вдруг ветер привлек мое внимание на несколько минут; он завывал в густой листве деревьев и, прислушиваясь к его вою, казалось, что слышишь полет времени. Сильным порывом ветра задуло одну свечу, пламя другой заколебалось — я поспешным движением закрыл окно: меня вовсе не соблазняла мысль остаться в потемках.

И внезапно я сделался искренним с самим собой и бросил попытки надуть самого себя: — я чувствовал настоящую потребность смотреть на мертвеца, убедиться в том, что он не может больше вредить мне.

Тогда я зажег лампу и поставил ее так, чтобы она ярко осветила Лерна.

Право, он был прекрасен. Очень красив. Не оставалось никакого следа от свирепого выражения лица, которое я встретил после пятнадцатилетнего отсутствия, никакого... разве только ироническая улыбка, змеившаяся на устах. Не было ли у покойного дяди какой-нибудь задней мысли? Казалось, что несмотря на свою смерть, он все продолжает бросать вызов природе, он, который при жизни позволил себе исправлять ее творчество...

И я вспомнил о его безумно смелых и преступно дерзких опытах. Они с одинаковым успехом могли довести его и до плахи и до пьедестала и могли принести ему славу, так же, как и каторгу. В былые времена я знал, что он достоин одного, и готов был поклясться, что он никогда не заслужит другого. Что же произошло столь таинственное в его жиз-

ни пять лет тому назад и превратило его в скверного хозяина, занимавшегося убийством своих гостей?..

Вот над чем я задумался. А вой ветра в печке казался жалобами теней Клоца и Мак-Белля на вынесенные ими мучения. Порыв ветра превратился в бурю и свистел за окнами; пламя свечей заколебалось; заколыхалась слегка и вновь легла спокойными складками легкая портьера; на голове Лерна зашевелились его редкие, легкие белые волосы. Проникший сквозь плохо закрытые окна ураган взметнул портьеру, разметал волосы дяди во все стороны...

И в то время, как невидимая рука играла его волосами, я, остолбенев от ужаса, стоял наклонившись над головой Лерна и не мог оторвать глаз от то появлявшегося, то исчезавшего под прядями серебристых волос с и н е - б а г р о в о г о рубца, который шел от одного виска к другому...

Ужасный признак цирцейской операции. Она, значит, была произведена и над дядей. Но кем...

О т т о К л о ц, черт возьми!..

Тайна разъяснилась. Последнее окутывавшее ее покрывало-саван разорвалось. Все объяснилось. Все: внезапная перемена, происшедшая с дядей, совпадала с исчезновением его главного помощника, с путешествием Мак-Белля, наконец, с пропажей самого Лерна. Все: отвратительные письма, измененный почерк их, то, что он меня не узнал, немецкий акцент, отсутствие воспоминаний; затем, вспыльчивый характер Клоца, его смелость, граничащая с безумием, страсть к Эмме, достойные всяческого порицания работы, преступления, совершенные над Мак-Беллем и надо мной. Все... все... все!..

Припоминая рассказ моей подруги, я мог восстановить всю историю этого невообразимого преступления.

За четыре года до моего теперешнего приезда в Фонваль, Лерн и Отто Клоц возвращались из Нантейля, где они провели целый день. Лерн был, вероятно, в прекрасном настроении духа. Он возвращался к своим любимым занятиям над прививками, цель которых, единственная цель, принести пользу человечеству. Но влюбленный в Эмму Клоц хочет направить поиски в другую сторону; не задумавшись,

мываясь над вопросом о профанации и заботясь только о прибылях, он мечтает о перемене личностей заменой мозгов. Очень вероятно даже, что он предложил этот план, который он не мог привести в исполнение в Мангейме за отсутствием материальных средств, дяде, но безрезультатно. Но у помощника зародился макиавеллистический план. С помощью своих трех соотечественников, предупрежденных заблаговременно и поджидавших своего сообщника с дядей в чаще леса, он нападает на профессора, связывает его и запирает в лабораторию этого человека, богатствами и независимым положением которого он хочет овладеть. Другими словами, Клоцу нужна личность Лерна.

Но все же он хочет в последний раз в жизни использовать ту свою физическую мощь, которой он лишится навсегда, и проводит ночь с Эммой.

Назавтра ранним утром он возвращается в лабораторию, в которой помощники не спускают глаз с Лерна. Его три сообщника наркотизируют их обоих и переносят мозг Клоца в мозговую коробку Лерна. Что же касается мозга Лерна, то его кое-как запихнут в череп Клоца, который теперь превратился в труп, и наскоро закопают все эти анатомические останки.

И вот, наконец, цель достигнута: под маской, костюмом и внешностью Лерна, Отто Клоц является полновластным хозяином Фонваля, Эммы, хода работ, словом, всего. Нечто вроде разбойника, одевшего рясу убитого им отшельника.

Эмма видела, как он вышел из лаборатории. Бледный, шатающейся походкой Лерн возвращается в замок, изменяет весь строй жизни и устраивает лабиринт перед въездом в замок. Затем, уверенный в своей безнаказанности, начинает производить свои ужасные опыты в своей недосягаемой берлоге.

К счастью, эти опыты оказались бесполезными. Тот, кто умудрился украсть чужую внешность, умер слишком рано, не успев воспользоваться плодом воровства, жертвой которого он сам сделался, так как болезнь сердца, послужив-

шая причиной смерти Клоца, составляла принадлежность тела Лерна.

Так судьба наказывает грабителя помещения, когда над ним проваливается крыша.

Теперь мне стало понятно, почему это лицо сделалось снова похожим на лицо моего дядюшки. За этим лбом не скрывался больше мозг немца, придававший ему такое отталкивающее выражение.,.

Клоц был убийцей Лерна, а не Лерн убил Клоца... Я не мог прийти в себя от изумления. Вот тайна, которую эта двойственная личность забыла мне открыть... И, сердясь на самого себя за то, что я в течение такого долгого времени не раскусил его, я уговаривал себя, что наверное заметил бы этот обман, живи я с ним один на один, но что общество людей доверчивых, как Эмма, или его сообщников, как его немцы, отражалось на моем отношении к нему и заставляло меня разделить их ошибку или умышленную ложь.

— Ах, тетушка Лидивина, — думал я. — Вы вполне правы, что улыбаетесь вашими, нарисованными пастелью, губами. Ваш Фредерик погиб в ужасной западне пять лет тому назад, и душа, покинувшая только что это тело, не имеет с ним ничего общего. Теперь в нем не осталось ничего чужого, если не считать мозговых полушарий, но и те в данный момент не имеют никакого значения. Значит, мы действительно находимся у тела вашего превосходного мужа, так как тот — другой умер и этим заплатил свой долг...

При этой мысли я разрыдался от всего сердца, сидя напротив этого странного покойника. Но сардоническая улыбка, оставшаяся на губах после гибели злодея, раздражала меня. Я с трудом устранил ее, изменив положение затвердевших уже губ по своему вкусу.

Когда я отошел от покойника, чтобы лучше судить о своей работе, кто-то тихо постучал в дверь.

— Это я, Николай, я... Эмма...

Несчастливая девушка. Сказать ли ей правду? Как она отнесется к такой невероятной проделке судьбы?.. Я ее хорошо знал. Над ней столько раз смеялись, что она не поверит



и упрекнет меня, говоря, что я ее мистифицирую... Я промолчал.

— Отдохни, — сказала она шепотом. — Варвара тебя сменит.

— Нет, спасибо. Я не хочу. Оставь меня.

Я должен бодрствовать у тела моего дяди. Я приписал ему слишком много позорных поступков и хотел бы вымолить свое прошение у его памяти и у памяти моей тетушки.

И вот почему, несмотря на разыгравшуюся бурю, мы провели всю ночь вместе: покойник, портрет и я.

На заре Варвара пришла сменить меня, и я вышел на предутренний воздух, холод которого действует так ободряюще на кожу, разгоряченную бессонной ночью.

В осеннем парке пахло увядшим запахом кладбища. Сильный ветер, бушевавший всю ночь, сорвал с деревьев все листья, и моя нога утопала в густой массе их; на скелетах деревьев совершенно не видно было листьев за редкими исключениями, да и то нельзя было сказать с уверенностью, листья ли это, или воробьи. В несколько часов парк сделал все необходимые приготовления к зимовке. Во что превращалась великолепная оранжерея во время морозов?.. Может, быть, мне удастся пробраться в нее, пользуясь суматохой, возникшей у немцев благодаря этой неожиданной смерти. Я направился в ту сторону. Но то, что я увидел издали, заставило меня ускорить шаги. Дверь оранжереи была открыта, и из нее валил едкий черный дым, пробивавшийся также и из отверстий окон.

Я вошел в нее.

Средний зал, аквариум и третья комната представляли картину полного разрушения. Там все разрушили, разбили, подожгли. Посередине всех трех помещений были нагромождены груды хлама; там лежали в чудовищной смеси разбитые горшки, сломанные растения, куски хрусталя, венчики морских растений, истерзанные цветы, околевшие животные: короче говоря, три отвратительных навозных кучи, в которых была заключена вся удивительная, приятная, трогательная или отталкивающая жизнь этого трой-

ного дворца. В одном углу догорали еще тряпки, в другом, в куче пепла, корчились полуобгоревшие ветки самых компроектирующих растений. От обгоревших костей шел смрад. Не подлежало никакому сомнению, что этот грабеж устроили помощники, чтобы уничтожить следы своих занятий и опытов, и я не слышал ничего из-за разразившейся бури. Но они, должно быть, не остановились на полдороге...

Чтобы убедиться в этом, я отправился на кладбище, на лужайку. Там в открытой яме лежали только кости и скелеты некоторых животных, по большей части без голов. Клоца там не было. Нелли также.

Но грабеж лаборатории произвел на меня впечатление шедевра. Он указывал на врожденную способность к этому делу людей в общем, и в особенности некоторых народностей. Я совершенно без помехи прошел по всем помещениям, так как окна и двери были открыты настежь. На дворе остались только живые животные, не подвергнувшиеся никаким опытам; остальных я открыл немного позже. Тут, значит, ничего не было испорчено. Но операционные залы, наоборот, носили следы полного разрушения: там царил неопиcуемый хаос из разбитых склянок, смешавшаяся жидкость которых образовала на полу целое фармацевтическое озеро. Изорванные в клочки книги, заметки и тетради валялись вперемешку с исковерканными инструментами и аппаратами. Наконец, большая часть хирургических инструментов исчезла. Негодяи удрали, унося с собой секрет производства цирцейской операции и изобретенные для нее приспособления. Действительно, войдя в их павильон, я нашел там всю мебель вверх ногами, комоды и шкафы опустошенными и понял, что три сообщника сбежали.

Выходя из разграбленного дома, я заметил голубоватый дымок, поднимавшийся сзади левого крыла постройки. Он поднимался над кучей наполовину обуглившихся остатков, ужасный, отвратительный запах которых вызывал тошноту. Все же я подошел к ней и увидел, как один из остатков, зашевелившись, отделился от этой отвратительно

пахнувшей кучи: это оказалась хромая, наполовину изжарившаяся крыса, которая, сойдя с ума, бросилась мне в ноги. В ее черепе, сквозь круглую дыру, был виден кровото-чащий мозг.

Охваченный ужасом, отвращением и жалостью, я ударом каблука прикончил муки последней жертвы этих чудовищ.

## ХV.

### НОВЫЙ ЗВЕРЬ

**П**од влиянием вполне естественной при таком злосклонении апатии, господин окружной врач ничего не проверял и ничего не осматривал. Я рассказал ему об обмороках моего покойного дяди, о его собственной уверенности в том, что у него порок сердца, и г. окружной врач выдал мне свидетельство о смерти и разрешение похоронить дядю.

— Доктор Лерн, действительно, умер, — сказал он, — и наша миссия заключается, если вы позволите, только в подтверждении этого факта. Что же касается прочего, то у нас нет права заниматься исследованием причин, которые могли бы нас привести к тому, чтобы вступать в споры с таким выдающимся ученым и заставить его умереть не от того, от чего он утверждал.

Его похоронили в Грей-л'Аббей без всякой торжественности и без скопления народных масс.

После этого мне пришлось употребить десять дней на то, чтобы разобраться в делах этой непостижимой двойственности, никогда не встречавшейся до сих пор амальгамы из убийцы и его жертвы: Клоц-Лерна.

В течение своего феноменального существования, приблизительно около четырех с половиной лет — он не составил никакого завещания. Это явилось для меня доказательством, что вопреки его мрачным предсказаниям, смерть настигла его неожиданно для него самого; потому что в противном случае не подлежало никакому сомнению, что он сделал бы все возможное и невозможное, чтобы лишить меня наследства. Но в бюро, в закоулке я нашел то завещание дяди, о котором он мне писал. Он назначал меня своим единственным наследником.

Но Клоц-Лерн заложил и перезаложил имение и, кроме того, наделал массу долгов. Моей первую мыслью было затеять процесс; но тут же меня поразила абсурдность его, и я понял, какая кутерьма поднимется среди юристов при известии о такой подмене личностей, о таком, неподвижном сводом законов, подлоге, об этом противоестественном и противозаконном захвате наследства, об этом закладе чужого имущества под видом своего. Приходилось подчиниться всем последствиям этого феноменального мошенничества и молчать обо всем происшедшем из боязни самых скверных инсинуаций.

Впрочем, если подсчитать все точно, то принятие наследства было мне выгодно, тем более что я заранее решил избавиться от Фонваля, полагая, что он станет для меня гнездом скверных воспоминаний. Я внимательно просмотрел все бумаги. Заметки настоящего Лерна подтверждали в каждой строчке его добропорядочность ученого и чистоту его опытов над прививками. Записки Клоца-Лерна, которые легко можно было отличить по перемене почерка, а также потому, что в них попадались немецкие слова, были частью разграблены, частью сожжены, как неопровержимое доказательство некоторых преступлений, от соучастия в которых никак не мог бы оправдаться некий господин Николай Вермон, проведенный в Фонвале последние шесть месяцев. По тем же причинам я перерыл парк и обыскал пристройки.

Покончив с этим, я уступил животных жителям деревни и отказал от места Варваре.

Потом я пригласил к себе помощников. Запаковали в громадные ящики фамильные предметы, в то время как Эмма занималась упаковкой своих вещей, не зная, какому чувству отдаться, горю ли о потерянной химере или радости, что она последует за мной в Париж.

Немедленно после смерти Клоца-Лерна, торопясь вернуться в шумный свет и к привычному комфорту, не теряя ни минуты времени на устройство квартиры, я написал одному из своих друзей, прося его найти и нанять для меня помещение, которое было бы шикарнее моей холостой

квартиры и могло бы служить гнездышком для пары влюбленных. Его ответ обрадовал нас. Он откопал пристанище на проспекте Виктора Гюго: это был маленький особняк, выстроенный точно по нашему заказу и обставленный по нашему вкусу. Он даже позаботился о прислуге, которая была уже на месте и ждала нашего приезда.

Все было готово. Я отправил багажом огромные ящики и сундуки Эммы. В одно прекрасное утро я в последний раз переговорил с грейским нотариусом Паллю и решил вопрос о продаже имения. Эмма не могла больше усидеть на месте. Вечером этого самого дня было решено уехать на автомобиле в Париж, причем мы собирались переночевать в Нантейле, чтобы приехать в Париж днем.

Наконец, наступил для меня час прощания с Фонвалем навсегда.

Я еще раз обошел пустой дом и безлиственный парк. Казалось, что осень обнажила их обоих.

В покинутых комнатах сохранился еще старый аромат, полный воспоминаний и меланхолии. Ах, сколько очарования кроется иногда в затхлых, запущенных комнатах!.. На стенах видны были отиски висевших на них картин и зеркал, стоявших у них шифоньерок и баулов; куски сохранивших свой первоначальный цвет обоев в массе выцветших от времени, тени предметов, каким-то волшебством завещанных ставшей родной стене, яркие пятна, которые тоже потускнеют в свою очередь, как тускнеет воспоминание об отсутствующих. Некоторые комнаты от пустоты казались меньше, чем прежде, некоторые — больше. Я обошел дом сверху донизу; осмотрел чердаки при свете слуховых окон и подвалы, пользуясь освещением отдушин. И я не мог оторваться от этих мест, так живо воскресавших во мне мою юность; я бродил по ним, как живая тень в царстве привидений... Ах, моя юность! Я чувствовал, что только она и осталась в Фонвале. Пережитые недавно драмы, несмотря на их ужас, бледнели перед воспоминаниями о моей юности; комнаты Эммы и Донифана оставались в моей памяти только комнатами моей тетушки и моей... Прав ли я был, что продавал Фонваль с молотка?..

Эта мысль преследовала меня во время всей моей прогулки по парку. Поле снова казалось мне лужком, а павильон, в котором жил Минотавр, напомнил мне только Бриарея. Я обошел парк кругом вдоль по ограничивавшим поместье скалам. Небо так низко нависло, что казалось потолком из сероватой ваты, наложенным на окрестные вершины. При этом интимном внутреннем зимнем освещении, статуи, лишенные своих зеленых покрывал, обнаруживали испорченный временем и дождями бетон своих пьедесталов. Все они были более или менее попорчены, одни с разбитыми курносими носами, другие с обломанными подбородками. У одной — от вытянутой в изящном жесте руки, в которой она должна была держать амфору, остался только металлический стержень, на котором эта рука держалась... Они будут продолжать свое существование в одиночестве... Начиналось что-то дикое и нелюдимое, о чем можно было только смутно догадываться по еле заметным признакам. На крыше киоска ястреб точил свой клюв о стержень флюгарки. По пастбищу, не торопясь, мелкими шажками пробежала куница...

Я не находил в себе достаточной силы, чтобы уехать: я снова вошел в замок, потом вернулся в парк. Я растроганно слушал, как раздается звук моих шагов и звенит по паркету опустевших комнат и шуршит в густой листве, покрывавшей толстым слоем землю парка. С минуты на минуту тишина делалась все глубже. Мне казалось, что я испытываю чисто физическое затруднение, нарушая ее. Чувствовалось, что скоро она воцарится здесь полновластной хозяйкой, и, когда я остановился посреди лужайки, она попробовала испытать на мне свои чары.

Там, в середине людского цирка и в центре клуба видений, я долго мечтал. На мой молчаливый призыв явились и закружились вокруг меня в дьявольском хороводе фигуры из далекого прошлого и вчерашних происшествий, одни фантастические, другие настоящие — явления из мира сказок и из настоящей жизни; они носились вокруг меня в каком-то бешеном вихре и превращали лужайку в калейдоскоп воспоминаний, в котором вертелось все мое прошлое.

Но нужно же было, наконец, уезжать и предоставить Фонваль в полную власть плющу и паукам.

Перед сараем нетерпеливо прохаживалась Эмма, наряженная вороньим пугалом. Я открыл двери. Автомобиль стоял вкось сарая, в самой глубине его. Я не видел его после несчастья с Лерном и даже, насколько помнится, не убрал его на место. Я решил, что помощники из немного запоздалой любезности поставили его в сарай.

Несмотря на мою небрежность, мотор захрапел, как только я пустил в ход электричество. Тогда я вывел автомобиль до полукруглой аллеи, находящейся у въезда в Фонваль, и закрыл за собой скрипучие ворота, эмблему стольких тяжелых воспоминаний. Ну, слава Богу, кончена ужасная история с Клоцем. Но пришел конец и воспоминаниям моей юности... Я вообразил, что сохрани я Фонваль за собой, и воспоминания юности не исчезнут...

— Мы остановимся по дороге у нотариуса в Грей, — сказал я Эмме, — я отказываюсь от продажи Фонваля и поручу только сдать его в наем.

Мы выехали. Я направился по прямой дороге. Горы по бокам становились все ниже. Эмма болтала о чем-то.

Автомобиль сначала шел средним ходом довольно плавно. Но все же я уже сожалел, что так невнимательно отнесся к нему. Он стал то замедлять ход, то внезапно бросаться вперед, так что вскоре мы стали двигаться вперед какими-то резкими прыжками и бросками.

Я уже говорил, что мой автомобиль являлся триумфом автоматизма: на нем было самое минимальное количество педалей и ручек. Но этот же автоматизм представлял и серьезное неудобство: машину нужно было непременно тщательно выверять перед употреблением, потому что, раз пущенная в ход, она не поддается исправлениям на ходу, а все, что можно сделать, это только увеличить или уменьшить быстроту ее передвижения.

Перспектива продолжительной остановки мне не улыбалась.

А машина продолжала свой скачкообразный ход, и я не мог удержаться от смеха. Этот способ передвижения напoм-



нил мне в шутовском виде манеру прогуливаться Клоца-Лерна, с которым я гулял по этой же дороге, и капризную медленность его походки, то замедленной до полной остановки, то заставляющей нас мчаться карьером вперед. Надеюсь, что порча механизма временная, я мирился с капризами хода автомобиля и старался по звуку работающего мотора определить, какая из его частей не в порядке. Я склонен был приписать внезапные замедления хода, часто доходившие до того, что мы в течении целой секунды не двигались с места, избытку масла. Мое нелепое сравнение меня страшно смешило, и я не мог удержаться, чтобы не сказать:

— Совсем как эта каналья-профессор; это курьезно!

— Что случилось? — спросила Эмма. — У тебя беспокойный вид.

— У меня?.. Вот пустяки!..

Странная вещь: этот вопрос меня расстроил. А я-то был убежден, что у меня в высшей степени спокойное выражение лица. Какая же могла быть причина для моего беспокойства? Мне просто было неприятно; я, конечно, интересовался, какой из органов этого «большого зверя», как его называл профессор, был не в порядке и, не находя никакого объяснения, я уже собирался остановиться, я... ну, словом, мне было очень неприятно, вот и все! Напрасно я прислушивался своими, все же, как-никак, опытными ушами к звукам заглушенных взрывов, дребезжанию, глухим ударам: я не слышал ни одного характерного при порче цепей, предохранительных клапанов, шатунов звука.

— Держу пари, что это цепь скользит, — сказал я громко. — Ведь мотор в полном порядке...

Тут Эмма сказала:

— Николай, посмотри-ка! Разве эта штучка должна двигаться?

— Ну что же, разве я не оказался прав?

Она показала на цепную педаль, которая двигалась совершенно самостоятельно, соответственно прыжкам машины. Вот в чем повреждение!.. Пока я внимательно смотрел на педаль, она низко опустилась и заторможенный авто-

мобиль остановился. Только что я собирался слезть с него, как он резким движением пошел дальше. Педаль заняла свое прежнее место.

Меня охватило известного рода беспокойство. Конечно, нет ничего неприятнее испорченной машины, но я не помнил случая, чтобы порча механизма приводила меня в такое дурное настроение...

Вдруг сирена принялась рычать без того, чтобы я к ней прикоснулся...

Я почувствовал непреодолимое желание сказать что-нибудь: молчание удваивало мой ужас.

— Машина испортилась вконец, — заявил я, стараясь говорить развязным тоном. — Мы не доедем раньше поздней ночи, моя бедная Эмма.

— Не лучше ли попытаться исправить ее тут же на месте, сейчас?

— Нет! Я предпочитаю ехать дальше... Если останавливаешься, никогда нельзя быть уверенным, что удастся потом тронуться с места... Починить ее всегда успеем... Может быть, она как-нибудь сама придет в порядок...

Но сирена заглушила мой слабый, колеблющийся голос своим ужасным ревом. И от ужаса мои пальцы впились в рулевое колесо, потому что звук сирены вдруг понизился, превратился в долгую певучую ноту, которая делалась все ритмичнее, меняла тон... и я чувствовал, что она сейчас перейдет в этот мотив... знакомый мне мотив марша... (А может быть, в конце концов, я сам вызвал его — этот мотив в своей памяти...) Мотив делался все более похожим, и после некоторого колебания, свойственного всякому певцу, пробующему свой голос, автомобиль затащил его своим медным горлом.

Это был мотив: «Рум фил дум».

При звуках этой немецкой песни в мой мозг нахлынул вихрь подозрений. У меня получилось впечатление новой фантастической, таинственной, чудовищной выходки Клоца. Меня охватил ужас. Я хотел прекратить доступ бензина, — ручка не поддавалась моим усилиям; пустить в ход ножной тормоз — он сопротивлялся; ручной тормоз точно

так же отказывался служить. Какая-то не поддающаяся никаким усилиям воля держала их в своем подчинении. Я бросил руль и схватился обеими руками за дьявольский тормоз — с таким же успехом. Только сирена как-то иронически завывала и умолкла после этого выражения насмешки.

Моя спутница расхохоталась и сказала:

— Вот так смешная труба!

Мне было далеко не до смеха. Мои мысли неслись, как в водовороте, и мой рассудок отказывался верить выводам моих рассуждений.

Разве этот металлический автомобиль, при постройке которого не было употреблено ни кусочка дерева, резины и кожи, ни одна частица которого никогда не была частью живого существа, не был «организованным телом, которое до этого никогда не существовало»? Разве этот автоматический механизм не был снабжен рефлексам, но совершенно лишен разума? Разве, в конце концов, он не был единственным телом, согласно теории записной книжечки, которое может вместить душу целиком без остатка? Томестилище, которое профессор, не подумав как следует, объявил несуществующим?

В момент своей кажущейся смерти Клоц-Лерн, вероятно, производил над автомобилем опыт, аналогичный тому, который он произвел над тополем; но в своей развившейся за последние недели рассеянности он не предвидел, что (печально окончившаяся непоследовательность) его душа перейдет целиком в это пустое помещение, и что как только душевный отросток будет разрушен, его человеческая оболочка превратится в труп, возвратиться в который ему помешают законы его же открытия...

Или же, может быть, отчаявшись добиться тех богатств, к которым он тщетно стремился, Клоц-Лерн сделал это по доброй воле, совершив нечто вроде самоубийства, обменяв внешность моего дяди на оболочку машины?..

А почему бы ему не захотеть сделаться этим новым зверем, появление которого он предсказывал в такой эксцентрической форме: животным будущего, царем природы, ко-

торого постоянный обмен органов должен был сделать бессмертным — согласно его фантастическому предсказанию?

Повторяю еще раз, что как ни доказательны были мои рассуждения, я все же не хотел допустить их правдоподобность. Сходство между беспорядочным ходом автомобиля и походкой профессора, возможная галлюцинация слуха и вполне допустимая порча тормоза не могли служить достаточным доказательством такой грандиозной ненормальности. Мой ужас требовал более убедительного доказательства.

Я его и получил немедленно.

Мы подъезжали к опушке леса, к той границе, за пределы которой покойный маньяк неизменно отказывался выходить во время наших прогулок. Я понял, что тут мои сомнения или рассеются, или получают неопровержимое доказательство. На всякий случай я предупредил Эмму:

— Держись крепче: отклонись назад.

Несмотря на принятые меры предосторожности, резкая остановка автомобиля чуть не выбросила нас с наших мест.

— Что случилось? — спросила Эмма.

— Ничего! Сиди спокойно...

По правде сказать, я был в большом затруднении. Что делать? Сойти было бы опасно. На спине Клоца-автомобиля мы были хоть гарантированы от его нападений, а я вовсе не собирался вступать в открытую борьбу с автомобилем... Я попытался заставить его двинуться вперед. Точно так же, как несколько минут тому назад, ни одна ручка, ни один винтик не повиновался мне. Сколько я ни старался, как я ни напирал со всех сил, сопротивление не ослабевало...

Мы довольно долго пробыли в этом неприятном положении, как вдруг совершенно неожиданно и помимо моей воли рулевое колесо стало поворачиваться; колеса задвигались, и автомобиль, описав полукруг, направился по дороге обратно в Фонваль. Мне удалось потихоньку повернуть его в обратную сторону; но как только он сообразил, что

едет не в Фонваль, он снова остановился и отказывался сдвинуться с места.

Эмма заметила, наконец, что происходит что-то необычайное и стала настойчиво просить меня слезть, чтобы поправить «повреждение».

Но в течение последних минут мой страх сменился бешенством...

Сирена что-то закудаhtала.

— Хорошо смеется тот, кто смеется последний, — пробурчал я.

— Да в чем же дело? Что такое происходит? — повторяла моя спутница.

Не слушая ее, я достал из ящика для инструментов стальную тросточку, служившую мне для защиты от нападений, и, к глубочайшему изумлению Эммы, стал наносить ей удары упрямому автомобилю.

Тогда произошло что-то сказочное. Под градом ударов автомобиль стал метаться во все стороны: он прыгал, подскакивал, пробовал становиться на дыбы, словом, употреблял все усилия, чтобы выбросить нас с наших мест.

— Держись крепче! — кричал я Эмме.

И бил его все сильнее. Мотор ворчал, сирена жалобно стонала или рычала от злобы; а я продолжал бить со всей силы по крышке мотора; в лесу раздавалось громкое эхо от сильных ударов стали о железо...

Вдруг, испустив трубный крик слона, автомобиль сделал несколько судорожных движений и бросился вперед с невероятной быстротой — он понес...

Я не имел больше возможности распоряжаться направлением. Вся наша судьба находилась в зависимости от доброй воли взбесившегося чудовища. Мы почти летели; восьмидесятисильная машина неслась с небывалой скоростью; становилось трудно дышать... По временам раздавался резкий рев сирены... Мы пронеслись через Грей-л'Аббей с быстротою молнии. Под колеса попадали курицы, собаки — мои очки были забрызганы кровью. Мы неслись с такою быстротою, что вывески нотариуса Паллю показались мне золотой чертой... Выехав из деревни, мы попали на нацио-

нальное шоссе, окаймленное по обеим сторонам чинарами; потом длинный подъем умерил быстроту нашего бега. А потом появились наконец признаки утомления, которые я впервые заметил у своего автомобиля, и ход его замедлился еще больше, и мне удалось направить его, куда я хотел.

Мне пришлось часто хлестать его для того, чтобы он довез нас до Нантеля, куда мы приехали довольно поздно, но без дальнейших приключений. При переезде через рельсы я слышал, как сирена издала жалобный стон, и я увидел, что от толчка повредились рессоры правого переднего колеса. Приехав в гостиницу, я хотел заменить испорченную рессору новой, но мне это не удалось: мои попытки вызывали такой рев сирены, что я вынужден был отказаться от исправления. Впрочем, в ней не было спешной необходимости, так как я решился окончить путешествие по железной дороге, а строптивую машину отправить багажом. Я предоставлял будущему решить ее судьбу. А пока я поставил ее в гараж, где она заняла место между фаэтонами, лимузинами и другими автомобилями. Я поторопился уйти, чувствуя, как за моей спиной горят фальшивым и враждебным огнем круглые глаза прожекторов моей машины.

Продолжая безостановочно размышлять над пережитым мной невероятным приключением, я, возвращаясь домой, вспомнил фразу из научной статьи, которую когда-то читал. И я немало был изумлен тем, что нашел в этих словах смутный намек на объяснение того, что со мной произошло, и как бы предсказание возможности таких чудес:

«Можно представить себе, что существует такой же передаточный пункт между живыми существами и неодушевленными предметами, какой нами найден между животными и растительным мирами».

Гостиница обладала всеми современными приспособлениями комфорта. Я поднялся в подъемной машине и пошел в отведенную нам комнату.

Моя спутница была уже там. Проведя столько времени взаперти, она с какой-то жадностью смотрела на улицу, на

двигающуюся толпу и на магазины, блиставшие огнями своих роскошных выставок. Эмма не могла оторваться от зрелища кипучей жизни; продолжая одеваться, она каждую минуту подходила к окнам и раздвигала закрытые портьеры, чтобы снова взглянуть на оживление, царившее на улице. Мне показалось, что она стала менее любезной со мной и что внешний мир интересовал ее больше моей персоны. Мое странное поведение по время нашей поездки на автомобиле, наверное, изумило ее и, так как я твердо решил не давать ей никаких объяснений, я не сомневался, что она сочла меня оригиналом, не совсем вылечившимся от своего временного сумасшествия.

За обедом, сервированным за отдельными столиками, при уютном свете электрических лампочек, делавшим столовую похожей на будуар, в обществе одетых в фракки мужчин и декольтированных женщин, Эмма проявила совершенно неуместную в этой обстановке развязность. Она пристально смотрела на одних, мерила с ног до головы ироническим взглядом других, то восторгаясь, то издеваясь, выражая вслух одобрение или смеясь во всеуслышание, и служила источником насмешек или восторгов, то смешная до неприличия, то восхитительная донельзя...

Я увел ее, как только смог. Но ее желание войти в соприкосновение с людьми было так жгуче, что пришлось немедленно же отправиться куда-нибудь в людное место.

Театр был закрыт, открыто было только казино, в котором как раз в этот вечер происходил финал чемпионата борьбы, устроенной там в подражание Парижу.

Маленький зал был битком набит студентами, хулиганами и прочей похожей на них публикой. В воздухе носились клубы дыма от папирос и дешевых сигар.

Эмма важно восседала в своей ложе. Какой-то грустный мотив, раздавшийся из несчастного оркестрика, привел ее в восхищение. А так как она не привыкла сдерживать свои экстазы, то на нее направилось триста пар глаз, привлеченных помахиваньем веером и покачиваньем перьев на ее шляпе, которыми она мужественно махала в такт музы-

ке. Эмма улыбнулась и произвела смотр всем тремстам парам глаз.

Борьба привела ее в восторг, а борцы в особенности. Эти человекоподобные звери, морды которых — громадные челюсти и маленький лоб — казались предназначенными самой судьбой для ящика с овсом, пробуждали в моей подруге самые низменные и неистовые инстинкты.

Победил волосатый и татуированный колосс. Он вышел на аплодисменты и, чтобы изобразить поклон, он неловким движением склонил свою маленькую головку Мимидона, на которой еле видны были маленькие свиные глазки. Это был житель этого же города, и его приятели устроили ему оvation. Он получил звание «Бастiona Нантейля и чемпиона Арденн».

Эмма, поднявшись во весь рост, аплодировала и кричала «браво» так громко и с такой настойчивостью, что вызвала смех всего зала. Чемпион послал ей воздушный поцелуй. Я почувствовал, как краска стыда залила мне лицо.

Мы вернулись в гостиницу, обмениваясь кислыми фразами, предвестниками целомудренной ночи.

Ночь была целомудренна, но бурна. Наша комната помещалась как раз над воротами, и всю ночь под нами въезжали и выезжали автомобили, так что меня преследовали во сне несчастья и всякая чушь.

Проснувшись, я испытал настоящие неприятности. Я оказался в одиночестве.

Не понимая, в чем дело, я попытался объяснить отсутствие Эммы вполне понятными обстоятельствами домашнего характера, но ее место на кровати было холодно, и это навело меня на грустные размышления.

Я позвонил лакею. Он пришел и передал мне письмо, которое я сохранил и пришил булавкой над своим письменным столом. Вот оно:

«Милый Никола,

Прости меня за горе, но лучше растая. я встретила вчера моего перваго Любовнека, человек, за которого я подралась с леони Алсид. Это тот красавец, который был вчера



победным. Я возвращаюсь ему, потому что он в моей крови. Правильно, что я могла кинуть его только для громадных денег, что лерн Обещал. Потом я сделала бы тебе несчастным, потом я сделала бы тебе рогатым, потому что ты нравился мне только 2 раза в жизни, тот раз, когда бык ударил тебе рогом, потом вроще, а потом, когда ты убежал от мене из маей камнаты. Остальные разы ты ничего ни стоил. а я хочу иметь настоящава мужчину. Ты не винават, что ты не гадишся для мене, потому я думаю. что ты не будеш гаревать.

Прощай на вся жизнь  
Эмма Бурдише\*.

---

\* Когда мы в первый раз сообща читали «Доктора Лерна», содержание и особенно стиль этого письма показались нам совершенно не соответствующими обычной манере выражаться, присущей м-ль Бурдише. Как ни вульгарно она выражалась, все же ее речь не была так безграмотна и плоха (смотри VII главу, в которой разница проявляется всего резче). Жильбер сразу обратил наше внимание на это и находил в нем яркое доказательство обмана Кардаляка, который, по его мнению, просто не сумел до конца выдержать полностью выдуманный им тип женщины. Ему ответили предложением на минуту допустить, что Кардаляк был искренен; в таком случае, это письмо является неопровержимым доказательством, так как оно происходит непосредственно от м-ль Бурдише, тогда как все ее предыдущие слова, рассеянные в этой истории, представляют собой только цитаты. Они доходят до нас сквозь призму воспоминаний г. Вермона, который, не будучи профессиональным писателем, передает лучше содержание, чем стиль их. (Обратите внимание, насколько лучше он передает в той же VII главе обращения и брань, чем этот длинный рассказ; происходит это потому, что он лучше запоминает то, что короче.) Этих замечаний было достаточно, чтобы поколебать доказательства Жильбера. Опыт, произведенный Марлоттом, совершенно разрушил их вконец. Попросив нескольких деми-монденок удостоить его чести получить от них письма, он был изумлен, увидав, что эти дамы, разговорный язык которых изощрился от частых встреч с благовоспитанными людьми, почти все пишут, как му-жички (*Примечание переплетчика и издателя записок стола*).

Перед таким категорическим решением, да еще изложенным таким варварским языком, недалеко ушедшим от судебного наречия, оставалось только преклониться. Да разве чувства, которыми руководилась Эмма, написав мне такое письмо, не были теми самыми, которые соблазнили меня в ней? Разве я не любил в ней больше всего и прежде всего эту безумную жажду любви, причину ее очаровывавшей привлекательности и причину ее неверности?

У меня не хватило энергии и мудрости отложить на завтра остаток размышлений и выводов. Я боялся, чтобы не совершить какой-нибудь непростительной глупости. Поэтому я справился, когда идет первый поезд в Париж, и вызвал человека, который взялся бы отправить багажом мою восьмидесятисильную машину, или, если хотите, Клоц-автомобиль.

Скоро мне сообщили, что этот человек явился, и мы отправились вместе с ним в гараж.

Автомобиль исчез.

Вы сами поймете, что я не упустил случая сблизить обе эти измены и обвинить Эмму в каком-то гнусном сообщничестве. Но хозяин гостиницы, решив, что тут дело не обошлось без шайки грабителей, отправился в участок. Он немедленно вернулся и сказал, что в каком-то переулке предместья найден автомобиль № 234—XV, брошенный там жуликами, по его мнению, из-за недостатка масла: в резервуаре его не осталось ни капли.

— Великолепно! — подумал я. — Клоц хотел убежать! Он не рассчитал, что не хватит масла и вот теперь он парализован...

Но я сохранил про себя настоящее объяснение этого инцидента, а механику приказал довести автомобиль до вагона при помощи лошадей, не пуская в ход мотора.

— Обещайте мне, что вы исполните мое приказание! — настаивал я. — Это чрезвычайно важно... Вот скоро отходит мой поезд, и мне надо спешить, чтобы не опоздать на него. Ну, с Богом, только ни под каким видом не вливайте масла.

## XVI.

### ВОЛШЕБНИК УМИРАЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНО

**В**от я, наконец, в этом особняке, на проспекте Виктора Гюго, нанятом для Эммы. И я в нем один, наедине со своими странными воспоминаниями, потому что Эмма предпочла пожертвовать своей опьяняющей и прибыльной красотой в пользу г. Альсида... Не будем об этом больше говорить.

Начало февраля. Сзади меня в камине трещат дрова с шумом щелкающего бича. Со времени моего возвращения в Париж, не имея определенных занятий, не читая ничего, я занимаюсь тем, что с утра до поздней ночи записывал на этом круглом столике все то, что я пережил за последнее время. Кончены ли мои приключения?..

Автомобиль-Клоц помещается здесь же на дворе, в специально выстроенном для него помещении. Несмотря на мои распоряжения, нантейлевский механик наполнил резервуары маслом и нам — моему новому шоферу и мне — стоило невероятных трудов довести до дому этот автомобиль-человек, так как абсолютно не удавалось повернуть ручки кранов резервуаров, чтобы выпустить масло. Доставленный, наконец, в сарай автомобиль начал с того, что совершенно разрушил своего заместителя, двадцатисильный автомобиль новейшей конструкции... Что я мог поделаться с этим проклятым Клоцем? Продать его? Подвергнуть своих ближних его злобе? Это было бы преступлением... Уничтожить его, умертвить профессора в его последней трансформации? — Это было бы убийством. Я предпочел запереть его. Сарай построен из тяжелых дубовых досок, а дверь тщательно заперта на замок и засовы.

Но новый зверь проводил все ночи, рыча свои угрожающие или скорбные хроматические гаммы и соседи стали жаловаться. Тогда я заставил отвинтить в своем присутст-

вии преступную сирену. С невероятным трудом отвинтили винты, гайки и болты, и оказалось при этом, что сирена как бы припаялась к машине. Нам пришлось оторвать сирену, от чего вся машина содрогнулась. Из раны брызнула струя желтой жидкости, пахнувшей керосином, и медленно потекла капля за каплей из ампутированных частей. Я вывел из этого факта заключение, что металл, под влиянием интенсивной жизни, организовался; вот почему мои усилия заменить старую рессору не привели ни к какому результату; эта операция в данном случае превратилась бы в прививку неорганического тела к органическому, и сделалась так же невыполнимой, как прививка деревянного пальца к живой руке.

Лишившись своего голосового аппарата, мой заключенный не успокоился, а в течение недели продолжал страшно шуметь по ночам, бросаясь всей своей массой на запертую дверь. Потом внезапно он затих.. С тех пор прошел месяц. Я думаю, что резервуары масла и бензина пусты. Тем не менее я запретил Луи, моему шоферу, пойти убедиться в этом и вообще входить в клетку этого дикого и свирепого зверя.

Теперь у нас царит покой, но Клоц все-таки здесь. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

Луи перебил философские рассуждения, готовые сорваться с моего пера. Он ворвался ко мне и проговорил, выпучив глаза;

— Барин, барин! Пойдите посмотрите на вашу восьмидесятиильную машину...

Я даже не дождался конца его фразы и быстро пошел вниз.

Спускаясь вслед за мной по лестнице, Луи сознался, что позволил себе открыть сарай, потому что с некоторого времени оттуда доносился скверный запах. И действительно, даже на дворе стоял тяжелый, тошнотворный запах.

Луи воскликнул, почти в восхищении:

— Барин сам чувствует, какая вонь!.. — И он открыл дверь сарая.

Грузно осев на свои ослабевшие колеса, автомобиль был обезображен, точно он был сделан из воска и наполовину растаял. Рычаги висели, согнувшись, как резиновые полосы. Потерявшие форму прожекторы выглядели, точно из них выпустили воздух, а голубоватые клейкие стекла были похожи на бельма на мертвых глазах. На алюминиевых частях проступили подозрительные пятна, а железо было разъедено местами до дыр.

Стальные части истончились и сделались ноздреватыми, медь приобрела губчатую консистенцию грибов. Словом, большая часть составных частей автомобиля была покрыта язвами и пятнами, но это не была ни ржавчина, ни окись меди. Эта омерзительная вещь стояла в луже тягучей, отвратительной, пронизанной жилками разных цветов жидкости, вытекавшей из нее самой. Под влиянием каких-то странных химических реакций на поверхность этого разлагающегося металлического тела вырывались какие-то пузырьки, а внутри механизма слышалось какое-то бульбульканье, точно кто-то там полоскал себе горло. Вдруг, с мягким звуком, точно от падения в жидкую грязь, свалилось рулевое колесо, разбило платформу и рикошетом — покрышку мотора. Там оказалась какая-то гнусная каша, и вырвавшаяся оттуда вонь заставила меня броситься к выходу из сарая. Но все же у меня хватило времени заметить в самой глубине тени кишение трупных червей...

— Какая дрянная марка! — заявил мой шофер.

Я попробовал уверить его, что усиленная тряска обладает иногда свойством разлагать металл и может давать картину таких молекулярных изменений строения. Кажется, он не особенно поверил в мои объяснения, а я, знавший, что правда еще менее правдоподобна, был вынужден, чтобы понять ее и согласиться, что это именно так, снова повторить все про себя, придав своим размышлениям втайне словесную форму, благодаря которой вещи подтверждают-

ся и легче объяснимы, так же, как задача легче усваивается на языке цифр.

Клоц умер! Автомобиль умер! И вместе со своим автором рушится великолепная теория об одухотворенном механизме, обладающем бессмертием благодаря постоянной замене своих износившихся составных частей новыми и поддающемся бесконечным усовершенствованиям. Вдохнуть жизнь значит вдохнуть в то же время и смерть, которая неумолимо следует за жизнью; и попытка превратить неорганические вещества в органические значит — обречь их на более или менее быстрое разрушение.

Но мои предположения оказались ошибочными: фантастическое существо погибло не из-за недостатка бензина. Нет — резервуары оказались наполовину полными. Значит, машину разрушила ее душа, душа человека, эта душа-соблазнительница, которая с такой быстротой использовала тела более здоровых, чем мы, животных, и которая быстро привела к печальному концу это металлическое, могучее и невинное тело.

Я приказал выбросить в помойную яму всю эту отвратительную кучу. Могилой Клоца будет свалка. Он умер... он умер. Я избавился от него. Он умер б е з п е р е д а ч и... Он у м е р, наконец. Его дух находится там же, где души всех умерших. Он не может больше мне вредить.

Ха! Ха! Ха! Старина Отто!.. УМЕР! Отвратительное животное!

Я должен был бы чувствовать себя счастливым. А между тем, этого нет на самом деле. О, не из-за Эммы! Я не отрицаю, что эта особа огорчила меня. Но это горе рассеется; а раз есть сознание, что горе может пройти, оно уже наполовину прошло. Нет, все мое несчастье — это то, что я не могу отделаться от воспоминаний. Меня преследует все то, что я видел и переиспытал: сумасшедший, Нелли, операция, Минотавр, я-Юпитер и много других ужасных вещей... Я пугаюсь пристального взгляда, направленного на меня, и опускаю глаза при виде замочной скважины... Вот в чем мое несчастье. А кроме того, я страшно боюсь одной ужасной вещи...

А что если все это не кончено еще? Если смерть Клоца не послужит развязкой моих приключений?..

До него мне нет никакого дела, так как он больше не существует; да если бы даже он и появился под личиной Лерна или в виде призрачного автомобиля, и стал бы меня дразнить, я прекрасно понял бы, что это может быть только воображением или галлюцинацией моего слабого зрения. Он-то умер, и я очень мало им интересуюсь, повторяю это.

Меня тревожит мысль об его трех помощниках. Где они находятся? Что они делают? Вот в чем вопрос. Они обладают секретом цирцейской операции и, наверное, пользуются им в своих собственных выгодах, чтобы торговать перемещением личностей... Несмотря на постигшую его неудачу, Клоц-Лерн все же встретил некоторых субъектов, которые согласились подвергнуться его дьявольской операции, чтобы обменяться с другими своими душами. Трое немцев увеличивают с каждым днем количество этих негодяев, жадных до чужих денег, или до чужой молодости, или до чужого здоровья. По свету бродят, не возбуждая ни в ком подозрений, мужчины и женщины, которые вовсе не те, кем они кажутся...

Я больше ни во что не верю... Все лица мне кажутся масками. Может быть, я мог бы это заметить и раньше, но есть люди, на лицах которых отражается совсем несвойственная им душа. Некоторые, известные своей честностью и прямодушием, вдруг оказываются обладающими непредвиденными порочными наклонностями и бурными страстями, так что начинаешь думать о чуде. Та же ли у них душа сегодня, что была вчера?

По временам глаза моего собеседника загораются странным огнем, я читаю в них не принадлежащую ему мысль; если он выскажет ее, он тут же отречется от нее и сам первый удивится, как она могла прийти ему в голову.

Я знаю людей, убеждения которых ежедневно меняются. Это очень нелогично.

Наконец, сплошь и рядом мной овладевает какая-то могучая воля, чья-то грубая сила сжимает мой мозг, если мож-

но так сказать, и заставляет мои нервы или приказывать моим мышцам совершать поступки, о которых я потом жалею, или произносить слова, которым я не сочувствую — движение, пощечины или выкрикивание ругательств.

Я знаю, я прекрасно знаю: всякий человек переживает в своей жизни такие же минуты. Но для меня причины этих явлений сделались смутными и таинственными. Объясняют это приступами лихорадки, взрывом гнева, припадком рассеянности, точно так же, как неожиданные выходки, которые я часто подмечал у своих ближних, называют обычаем, лицемерием, расчетом или дипломатией, и которые, как говорят, в сущности только проступки против этих великих слов или протест против них...

Не вернее ли, что все это вызвано таинственным влиянием всемогущего волшебника?

Я согласен, что пережитые мною волнения истощили мой мозг, и мне следовало бы полечиться. Меня неудержимо преследуют зловещие воспоминания о моих злоключениях в Фонвале. Вот почему, ясно почувствовав необходимость избавиться от этих воспоминаний, я немедленно, по своем возвращении оттуда, принялся записывать их; вовсе не с целью написать книгу, а в надежде, что, изложив все это на бумаге, я избавлю от них свой мозг и что этого будет достаточно, чтобы раз навсегда изгнать воспоминания из моей головы.

Но это не так. Далеко не так. Наоборот, я пережил их с новой силой по мере того, как излагал их на бумаге; и я не могу понять, чья колдовская сила заставляет меня по временам употреблять некоторые слова и выражения помимо моей воли.

Я не добился своей цели. Я должен прибегнуть к другим, новым способам, чтобы заставить себя позабыть этот кошмар и уничтожить в своей памяти даже мелочи, которые могли бы напомнить мне о нем. Спустя немного времени, многие вещи исчезнут... и будет слишком поздно... Может случиться, что в окрестностях Фонваля родится несколько слишком разумных быков: надо сейчас же купить



Ио, Европу и Атор и приказать их зарезать. Продать Фонваль и все, что там находится. Жить, жить самим собой... продолжать жить глупым, экстравагантным или смешным, все равно, но оригинальным, независимым, не слушаясь ничьих советов и свободным, Господи, свободным от ига воспоминаний.

Я клянусь, что эти мерзости в последний раз заполняют мой мозг. И записываю я это только для того, чтобы запечатлеть это как можно торжественнее.

А тебя, вероломная рукопись, которая только увековечила бы существа и события, которым я с настоящей минуты отказываю в праве существования, в огонь! В огонь «Доктора Лерна»! В огонь! В огонь! В огонь!..

Русский перевод романа М. Ренара «Доктор Лерн, полубог» (1908) был впервые издан М. Г. Корнфельдом в Петербурге в 1912 году в серии «Библиотека “Синего журнала”». Книга публикуется по этому изданию в новой орфографии, с исправлением опечаток, некоторых устаревших особенностей правописания и пунктуации и ряда устаревших оборотов. Известная переводческая небрежность также потребовала определенной редактury текста, которую мы постарались свести к минимуму. Часть фразы «Несмотря на то, что эта операция...» (с. 101), выпущенная по оплошности наборщика в оригинальном издании, восстановлена по смыслу.

## Оглавление

<i>От издателя</i>	7
Господину Г. Дж. Уэллсу	9
Вместо предисловия	10
I. Ноктюрн	15
II. В обществе сфинксов	31
III. Оранжерея	51
IV. Жара и холод	65
V. Сумасшедший	79
VI. Сенбернар Нелли	92
VII. Так говорит м-ль Бурдише	108
VIII. Безрассудство	123
IX. Западня	137
X. Цирцейская операция	152
XI. На пастбище	169
XII. Лерн меняет свои планы	183
XIII. Опыты?.. Галлюцинации?..	197
XIV. Смерть и маска	207
XV. Новый зверь	220
XVI. Волшебник умирает окончательно	235

# POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.